

ЯЗЫК, ОПЫТ, ВРЕМЯ
в свете дискурсивных
и коммуникативных практик

Лингвокогнитивные исследования опыта

Язык, опыт, время в свете дискурсивных и коммуникативных практик



БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ИММАНУИЛА КАНТА

ЯЗЫК, ОПЫТ, ВРЕМЯ
В СВЕТЕ ДИСКУРСИВНЫХ
И КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИК

Монография

Под редакцией М. Н. Конновой

Издательство
Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
2024

УДК 811.11 811.161 821
ББК 81.432.1 81.411.2 83.3 (4)
Я41

Рецензенты

Е. М. Позднякова, д-р филол. наук, профессор (Москва);
Е. А. Нильсен, д-р филол. наук, профессор (Санкт-Петербург)

Коллектив авторов

Н. Г. Бабенко, д-р филол. наук, проф.; *Л. М. Бондарева*, д-р филол. наук, проф.; *А. О. Бударина*, д-р пед. наук, проф.; *Н. Г. Владимирова*, д-р филол. наук, проф.; *В. Х. Гильманов*, д-р филол. наук, проф.; *М. Н. Коннова*, д-р филол. наук, доц.; *И. Д. Копцев*, д-р филол. наук, проф.; *Л. А. Мальцев*, д-р филол. наук, проф.; *Т. М. Шкапенко*, д-р филол. наук, проф.

Я41 Язык, опыт, время в свете дискурсивных и коммуникативных практик : монография / под общ. ред. М. Н. Конновой. Калининград : Издательство БФУ им. И. Канта, 2024. — 211 с.
ISBN 978-5-9971-0917-2

Монография, подготовленная коллективом авторов, объединяет исследования языковой экспликации индивидуального и социального опыта на материале различных видов дискурса — художественного, научного (в том числе философского), публицистического, мемориального. Привлекается широкий массив текстовых, корпусных и лексикографических данных, отражающих коммуникативные практики английского, немецкого и русского языков в их современном состоянии и в формах, характерных для предшествующих исторических эпох.

Книга адресована филологам, культурологам, социологам, литературоведам, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами языка, опыта и времени.

УДК 811.11 811.161 821
ББК 81.432.1 81.411.2 83.3 (4)

ISBN 978-5-9971-0917-2

© БФУ им. И. Канта, 2024

*Посвящается светлой памяти
Светланы Сергеевны Ваулиной (1945—1924)*

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие (<i>М. Н. Коннова</i>)	5
Раздел I. Категоризация опыта в немецком и русском языках: когниция и коммуникация	13
1. Лингвистическая интерпретация познания прошлого опыта (<i>Л. М. Бондарева</i>)	13
2. «Формула Гамана»: к проблеме двух онтологий как коммуникативных событий (<i>В. Х. Гильманов</i>)	54
3. Аргументативная роль монолога и диалога в художественном дискурсе романа Т. Манна «Будденброки» (<i>И. Д. Коцев, Л. А. Мальцев, Н. Г. Владимирова</i>)	73
4. Рефлексивы в современном литературном дискурсе: опыты анализа и интерпретации (<i>Н. Г. Бабенко</i>)	101
Раздел II. Кросс-культурное измерение языковой категоризации опыта (на примере английского и русского языков)	124
1. <i>Comfort</i> как имя концепта культуры: ценности и антиценности (<i>А. О. Бударина, М. Н. Коннова</i>)	124
2. Практики англогибридизации ономастического пространства российских городов (<i>Т. М. Шкапенко</i>)	168
3. Ценностное измерение бытия в стихотворении А. С. Пушкина «Монастырь на Казбеке»: оригинал и перевод на английский (<i>М. Н. Коннова</i>)	188
Заключение (<i>М. Н. Коннова</i>)	208

ПРЕДИСЛОВИЕ

Язык как средство общения и способ выражения мысли неотделим от опыта. Именуя, характеризуя и оценивая мир, язык ословливает не столько «объективный» мир во всей его полноте, сколько бытие, прочувствованное и осознанное человеком, — его опыт. Опыт отличает исключительное многообразие: «Сознательный опыт варьируется от ярких визуальных ощущений цветов до чувства едва уловимых привычных ароматов; от резких болей до ускользающих мыслей, которые мы вот-вот должны припомнить; от повседневных звуков и запахов до потрясающей музыки... от специфичности вкуса мятной конфеты до всеобщности опыта самости. Всем этим вещам присущи особые переживаемые в опыте качества. Все они играют видную роль во внутренней ментальной жизни»¹.

Вариативность опыта, обусловленная бесконечной многогранностью бытия, находит свое отражение в естественном языке и человеческой речи, формируя их неповторимый, но узнаваемый облик. Общность опыта, объединяющая носителей определенного языка в определенный период его развития, обеспечивает единство коммуникативных и дискурсивных практик эпохи. Изменение опыта влечет за собой трансформации языка на различных его уровнях, постепенные или стремительные, явные или малозаметные. Язык, способный отразить опыт и в простоте его повседневных бытовых проявлений, и на невыразимых глубинах жизни души и мысли, является основным средством передачи опыта в процессе общения.

В процессе категоризации, вовлекающем в работу также память, внимание и умозаключения, перцептивно воспринятый мир приобретает упорядоченный, систематизированный харак-

¹ Чалмерс Д. Сознательный ум: В поисках фундаментальной теории. М. : УРСС, 2015. С. 20.

тер. Процесс категоризации осуществляется непрерывно: человек постоянно направляет в мир средства его категориальной идентификации — своеобразные «зонды» разной длины и конфигурации. «В качестве зондов могут рассматриваться и простейшие перцептивные схемы, и языковые значения, и научные теории, а также идеология, государственные законы, моральные принципы...»¹

Язык и ословливаемый им человеческий опыт существуют во времени. Во временных координатах воспринимается все сущее, все доступное человеческому уму и истолкованию; все, воспринимаемое сознанием и представляемое им, имеет некие темпоральные характеристики. Понимание временных различий является основным условием смыслового единства опыта. Время, представляющее собой непрерывный поток дифференцируемых элементов опыта и череду мельчайших изменений, входит в язык по-разному: как сложная мыслительная сущность, закрепляемая в семантике языковых единиц и категорий, и как внешняя сила, вызывающая трансформации в опыте и отражающем его языке.

Настоящая коллективная монография, объединившая исследования различных аспектов языкового преломления изменяющегося опыта индивида и социума, состоит из двух разделов.

Первый раздел, «**Категоризация опыта в немецком и русском языках: когниция и коммуникация**», объединяет исследования, освещающие с опорой на данные немецкого и русского языков вопросы вербального отражения многообразного опыта постижения действительности в ее онтологическом, аксиологическом и коммуникативном измерениях.

В центре главы «**Лингвистическая интерпретация познания прошлого опыта**» (автор — д-р филол. наук, проф. Л. М. Бондарева) находится проблема словесной экспликации сложной ментальной сущности — опыта прошлого. Рассматривается языковая специфика ретроспективного дискурса, который

¹ Журавлев И. В. Теория эмерджентной эволюции и эволюционная эпистемология Карла Поппера // Поппер К. Р. Знание и психофизическая проблема: В защиту взаимодействия. М. : Изд-во ЛКИ, 2008. С. 234—235.

представляет собой результат фиксации в текстах лимитированного жанрового репертуара ментально-когнитивной ретроспективной деятельности речевого субъекта, осуществляющего интенционально обусловленную реконструкцию собственного или чужого прошлого опыта. Констатируется факт реализации данного типа дискурса в двух разновидностях — в качестве индивидуально обусловленного и коллективно обусловленного подтипов, что регламентируется функционированием механизмов личностной или коллективной памяти соответственно. Описываются субстанциальные признаки ретроспективного дискурса, к которым относятся его конституирующие, дифференцирующие и идентифицирующие параметры. Непосредственным материалом исследования послужили мемуарно-автобиографические тексты немецких писателей XIX—XX вв., циркулирующие в пространстве индивидуально обусловленного подтипа ретроспективного дискурса и формирующиеся в процессе активизации автобиографической памяти их авторов. Специальное внимание уделяется такому идентифицирующему признаку дискурса, как вербализация концепта «память», обладающего полевой структурой. Осуществляется последовательная интерпретация экспликаторов ядерной зоны, ближней и дальней периферий, а также интерпретационной зоны номинативного поля подразумеваемого концепта.

Глава **«“Формула Гамана”: к проблеме двух онтологий как коммуникативных событий»** (автор — д-р филол. наук, проф. В. Х. Гильманов) сосредоточена вокруг вопросов соотношения языка и бытия, языка и познания, языка и опыта. Исследуется философия языка наиболее сложного из немецких деятелей эпохи Просвещения — Иоанна Георга Гамана (1730—1788), осуществившего «коперниканский переворот» в науке о языке и предвосхитившего целый ряд проблем, актуализированных в герменевтике П. Рикёра, Х.-Г. Гадамера, Ж. Дерриды.

В главе **«Аргументативная роль монолога и диалога в художественном дискурсе романа Т. Манна “Будденброки”»** (авторы — д-р филол. наук, проф. И. Д. Копцев, д-р филол. наук, проф. Л. А. Мальцев, д-р филол. наук, проф. Н. Г. Владимирова) рассматриваются особенности экспликации коммуникативного опыта в литературном произведении. На примере

романа Т. Манна «Будденброки» авторы демонстрируют, что в художественном тексте аргументативная форма диалогической речи по своей функции, структуре и языковым средствам выражения существенно отличается от логической аргументации в ее обыденном смысле. Причина несовпадения заключается в жанровой специфике литературно-художественного произведения, призванного оказывать прежде всего эстетическое воздействие на читателя или слушателя. Авторы прослеживают, как различные по возрасту, по своему социальному или родственному положению персонажи в романе используют аргументацию как средство отстаивания своих взглядов, интересов или как средство воздействия на других действующих лиц. Опираясь на основные постулаты когнитивного подхода к аргументации в художественном тексте, авторы описывают ситуации, когда предметом (объектом) аргументативной оценки говорящего и «ты»-адресата выступают третьи лица, по отношению к которым оба участника убеждающего диалога, адресант и адресат, строят свои оценочные модели. Наряду с моделями субъекта убеждения и адресата убеждения присутствуют модели «он»-адресата, поставляемые соответственно обеими сторонами убеждающего диалога, и две модели порождения набора аргументов для обеих моделей «он»-адресата. Отмечается, что процесс моделирования «он»-адресата и «ты»-адресата происходит на событийном (эмпирическом) уровне — на уровне поступков и речи действующих в литературном произведении лиц.

В главе **«Рефлективы в современном литературном дискурсе: опыты анализа и интерпретации»** (автор — д-р филол. наук, проф. Н. Г. Бабенко) рассматриваются особенности преломления в художественном тексте сложного опыта внутренней и внешней рефлексии. На материале частных художественных практик современного литературного дискурса представлено описание лингворефлексологии как области филологического дискурса, а именно — рассматриваются рефлективы как метаязыковые комментарии и в то же время как актуализированные компоненты художественного текста. К анализу привлечены прозаические произведения П. Басинского, Ю. Буйды, А. Варламова, Е. Водолазкина, Н. Кононова,

Д. Рубиной, М. Степановой, М. Степновой, Т. Толстой, Е. Чижовой. Участие рефлексивов в процессе апперцепции литературного произведения способствует сокращению коммуникативной дистанции между реальным автором и реальным читателем, формированию коммуникативной, лингвистической, культурной компетенций читателя. В главе представлены опыты лингвистического анализа и интерпретации рефлексивов: рассматриваются облигаторные и факультативные компоненты структуры рефлексива; гарнитура объектов языковой рефлексии (буква, звук, слово, словосочетание, предложение, субтекст); аксиологическая переориентация объекта языковой рефлексии в контексте рефлективного фрагмента текста; рефлексив как лингвопоэтический прием; рефлексивы как доминанта регулятивности; а также лингводидактический потенциал метаязыковых высказываний.

Второй раздел, **«Кросс-культурное измерение языковой категоризации опыта (на примере английского и русского языков)»**, объединяет исследования, которые освещают вопросы лингвистического освоения опыта инокультурной традиции в процессе взаимодействия носителей различных языков.

В главе **«Comfort как имя концепта культуры: ценности и антиценности»** (авторы — д-р пед. наук, проф. А. О. Бударина, д-р филол. наук, доц. М. Н. Коннова) на примере английской лексемы *comfort* и заимствованного существительного *комфорт* анализируются изменения в восприятии аксиологических оснований бытия носителями английского и русского языков. Процесс формирования семантического поля существительного *comfort*, ставшего именем фундаментальной ценности западноевропейского мира, прослеживается в контексте ментальной истории англо-американской цивилизации. Демонстрируется, что общая динамика концептуального содержания слова состоит в последовательной деаксиологизации понятий, выражаемых его лексико-семантическими вариантами: от первоначальной соотнесенности с миром идеальных ценностей, через актуализацию собирательного образа ценностей вещного мира, к отождествлению с элементарными психофизиологическими ценностями витального уровня. Демонстрируется, что при вхождении в русский язык английское заимствование *comfort / комфорт*

номинировало инокультурное явление. В XIX в. этика «аскетического самоограничения и самопожертвования» (Й. Херльт, К. Цендер), составлявшая доминирующую ценностно-поведенческую модель общества в России, препятствовала принятию «ценностей», обобщенно именуемых *комфортом*. Однако в рамках начавшейся на рубеже 1980—1990-х гг. трансформации смысловых установок российского социума слово *комфорт* и актуализируемый им образ жизненного успеха в «цивилизованном обществе» стали превращаться в инструмент манипулятивного воздействия на сознание носителей русского языка.

В главе «**Практики англогибридизации ономастического пространства российских городов**» (автор — д-р филол. наук, проф. Т. М. Шкапенко) описываются особенности воздействия английского языка на разноструктурные языки мира, отражающие противоречивый опыт глобальной экспансии англоамериканской культуры. Детально характеризуются процессы гибридизации лингвистических феноменов различного уровня. Структурно-системный уровень скрещивания языков описывается в диахронической перспективе на материале пиджинов, или креольских языков. Обращается внимание на различия в терминологии, используемой в контактной лингвистике для характеристики процессов системной языковой конвергенции в эволюционной перспективе. Если описание результатов миксирования языков в эпоху колониальных захватов осуществляется в терминах победителей и побежденных (субстрат, суперстрат и адстрат), то для периода глобализации свойственно рассмотрение изоморфных процессов в терминах гибридных образований. Воздействие английского языка на принимающие языки мира приводит к возникновению этнотерриториальных разновидностей глобального английского. Обосновывается, что, в отличие от *Hinglish* или *Singlish*, не существует социально-исторических оснований для причисления русифицированного английского к группе языковых гибридов. Практики англогибридизации современного русского языка сводятся к лексическим заимствованиям различного типа и спорадическим вкраплениям элементов английского языка в речь представителей отдельных социовозрастных групп.

Особой сферой присутствия английского языка следует признать коммерческий нейминг, получающий визуальную фиксацию в лингвистическом ландшафте и медиаландшафте России. Данные области становятся экспериментальным полигоном для лингвокреативных номинаторов, использующих различные способы миксирования русских и английских элементов, а также миксирующих в процессе номинации знаки языковой и иных семиотических систем. На этой основе предлагается разделять все гибридные имена на моносемиотические гибриды (образованные из элементов различных языковых систем) и полисемиотические гибриды (образованные из элементов различных знаковых систем). Выдвигается предположение, что растущая популярность гибридизации знаков различных систем свидетельствует о феноменологических изменениях языковой личности, дрейфующей от словоцентричности к мультимодальности и совмещающей в себе черты *homo loquens*, *homo videns* и *homo ludens*.

Глава «**Ценностное измерение бытия в стихотворении А. С. Пушкина “Монастырь на Казбеке”**: оригинал и перевод на английский» (автор — д-р филол. наук, доц. М. Н. Коннова) имеет своей целью описание художественных средств экспликации индивидуально-авторского опыта восприятия бытия в соотношении с иноязычной интерпретацией произведения в процессе перевода. Исследуются особенности образно-словесной экспликации ценностных доминант картины мира А. С. Пушкина; демонстрируется, что актуализация аксиологических смыслов стихотворения происходит в рамках единого вертикального контекста, который намечается библейской аллюзией *монастырь — ковчег*, представляющей собой «смысловой ключ» к пониманию авторского замысла. В образе монастыря на Казбеке невидимое и невыразимое становится «реально присутствующим, видимым и действующим» (В. Н. Лосский). В англоязычном переводе, выполненном современным американским автором Дж. Г. Лоуэнфельдом, идеалы, символически представленные в стихотворении А. С. Пушкина, размываются, а внутренний авторский опыт оказывается невыраженным.

В данной коллективной монографии особенности языковой экспликации опыта исследуются на материале различных ви-

дов дискурса — художественного, научного (в том числе философского), публицистического, мемориального; привлекается широкий массив корпусных и лексикографических данных, отражающих коммуникативные практики трех языков — английского, немецкого и русского — как в их современном состоянии, так и в формах, характерных для предшествующих исторических эпох.

РАЗДЕЛ I
КАТЕГОРИЗАЦИЯ ОПЫТА
В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ:
КОГНИЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ

1. Лингвистическая интерпретация
познания прошлого опыта

В основе всей человеческой жизнедеятельности лежит постоянное взаимодействие с окружающей действительностью в процессе каждодневного осмысления и переработки поступающей информации для возможности адекватного реагирования на постоянно меняющиеся условия существования в этом мире. Познавательная деятельность подобного рода, предполагающая приобретение человеком повседневного жизненного опыта и получившая обозначение термином «когниция», стала в последние десятилетия объектом повышенного внимания ученых в сфере междисциплинарных гуманитарных исследований.

Как указывает Е. С. Кубрякова, в целом когниция подразумевает формирование сведений о мире в ходе приобретения различного рода знаний и охватывает любые способы постижения реальной действительности, начинающиеся с первых контактов человека с окружающей его средой [Кубрякова 2004: 10]. В формулировке Н. Н. Болдырева под когницией следует понимать любой процесс сознательного или бессознательного характера, связанный с получением информации и соответствующих знаний, которые подлежат преобразованию, запоминанию, извлечению из памяти и дальнейшему использованию [Болдырев 2004: 23].

Приобретение знаний, их переработка и утилизация способствуют в полной мере формированию и развитию навыков и умений ориентации во внешнем мире для его продуктивного освоения человеком. Знания представляют собой весь объем

информации, который накапливает каждая отдельная личность в течение жизни и который обуславливает особенности нашего поведения в комплексе. В концепции немецкого когнитолога М. Шварц речь при этом идет о совокупной когнитивной компетентности человека, реализующейся в форме двух видов знаний: «структурного», или «декларативного», знания (*strukturelles, oder deklaratives Wissen*), сводимого к модели «знать, что...», и «процедурного» знания (*prozedurales Wissen*), которое соответствует модели «знать, как...» [Schwarz 1992: 75]. (Впрочем, справедливости ради, следует отметить, что далеко не все исследователи полагают необходимым проводить в данной связи принципиальные различия между указанными видами знаний.)

При неискаженном отражении реальности в нашем сознании накопленные знания и опыт могут рассматриваться в качестве достаточно достоверных результатов постижения некоторых закономерностей окружающего мира. Согласно образному сравнению В. В. Знакова, различные знания подобны стеклам очков, поскольку они играют роль линзы, с помощью которой мы лучше видим и понимаем окружающее. Процесс познания, продолжает далее исследователь, заключается в постановке человеком вопросов об интересующих его сторонах действительности и поиске ответов на них, в формулировании проблем, задач и их решения. Таким образом, познание представляет собой совокупность знаний, возникающих вследствие поиска ответов на вопросы и решения задач [Знаков 2016: 232—233].

Совершенно логичным в связи с этим видится утверждение А. В. Кравченко о том, что знание является, по сути, структурированным опытом, в то время как сам опыт есть «функция снятия неопределенности в области каузальных связей между различными взаимодействиями организма» [Кравченко 2014: 21]. При осмыслении роли опыта в процессе познания неоспоримым является тот факт, что в сознании субъекта когнитивный опыт любого рода всегда связан с представлением о некоем резервуаре релевантных знаний, хранящихся в нашей памяти. Об этом писал еще Аристотель в своей «Метафизике», указывая, что опыт возникает из нашей чувственности и памяти, которая эту чувственность аккумулирует: основание опыта заключается в ощущениях, памяти и привычке [Аристотель 2021: 7]. Однако,

как отмечает Д. В. Анкин, через много столетий в русле идей критического рационализма (К. Поппер, Х. Альберт) роль опыта в области познания перестала признаваться столь фундаментальным фактором, как полагали сенсуалисты в прошлом и считают герменевтики в настоящем, и основополагающее значение начинает приобретать традиция, к которой, впрочем, следует относиться критически [Анкин 2019: 157]. Тем не менее даже в рамках подобного подхода абсолютным приоритетом продолжает обладать феномен памяти как безусловный источник и необходимое условие преемственности национально-культурных традиций, обеспечивающих возможность стабильного и поступательного развития любого социума.

Исследователь А. О. Прохоров, рассматривающий с позиции психолога важность в нашей жизни воспроизведения образов пережитых ранее состояний, указывает на функционирование таких «образов памяти» в качестве фиксаторов, хранителей и актуализаторов человеческого опыта, который помогает поддерживать связь настоящего с прошлым и будущим [Прохоров 2016: 53]. Вполне понятно, что перманентное сравнение прошлого и сиюминутного опыта способствует возможности адекватной ориентации человека в окружающем мире, выработке стратегий и тактик релевантного поведения и, как следствие, осуществлению целенаправленных операций по взаимодействию с реальной действительностью. По сути именно пережитое, то есть накопленный прошлый опыт, помогает нам интерпретировать в правильном ключе каждый новый опыт и регулировать таким образом ход любых дальнейших действий.

Как констатирует Э. Кандель, память обеспечивает целостность нашей жизни и дает нам последовательную картину прошлого, в контексте которой мы воспринимаем события настоящего, даже если эта картина «не рациональна и не точна». «Без связывающей силы памяти», говорит далее ученый, «наш опыт раскололся бы на столько фрагментов, сколько мгновений было в нашей жизни... Мы то, что мы есть, во многом благодаря памяти...» [Кандель 2012: 33].

По справедливому мнению М. А. Дмитриховской, в акте восприятия явлений окружающей жизни память переплавляет их в феномены сознания: «мир и человек сливаются воедино в акте

восприятия, а память закрепляет их неразрывную связь: *было, ибо я помню*. Через единство опыта человека память обеспечивает единство существования мира» [Дмитровская 1991: 83].

Следует сразу подчеркнуть, что традиционно память интерпретируется в качестве хранилища знаний человека о мире. Признавая полную правомерность подобной точки зрения, мы бы хотели одновременно указать на некую упрощенность такого подхода к рассмотрению вопроса, поскольку онтологическая сущность памяти заключается в ее комплексном и многоаспектном характере. Существуют разнообразные подходы к классификации видов, моделей и схем этого феномена (например, модель систем памяти Н. Во и Д. Нормана, модальная модель памяти Р. Аткинсона — Р. Шифрина, теория оперативной (рабочей) памяти А. Бэддели и Г. Хитча, иерархическая модель памяти Ф. Крэйка и Р. Локхарта, представляющая собой теорию поуровневой переработки информации, функциональная схема памяти Б. Баарса и Н. Гейджа), а исследования последних лет в области нейрофизиологии таких ученых, как У. Р. Матурана, Ф. Х. Варелла, Р. А. Раш, Г. Шеперд, П. Хейл и др., свидетельствуют о ярко выраженном динамическом компоненте памяти, что дает полное основание говорить о ее амбивалентности с учетом фактора диалектического взаимодействия присущих ей статики и динамики.

Любопытными в данном контексте являются рассуждения о сочетании статического и динамического аспектов в процессе функционирования памяти, представленные в трудах немецкого когнитолога З. Шмидта. Ученый указывает на наличие в нашей нервной системе стабильных когнитивных структур, именуемых нами «памятью» и актуализирующихся в форме воспоминаний. Таким образом, резюмирует автор, сами воспоминания не находятся в памяти, а порождаются и структурируются при синтезе отдельных восприятий, способствующем активации «модели возбуждения», которая отпечаталась в определенный момент в нервной системе и тормозит или даже полностью исключает действие других моделей [Schmidt 1991: 383].

В любом случае, что вполне очевидно, действие механизмов памяти непосредственно связано с реконструктивной деятельностью нашего сознания, получающего импульсы любого

рода из сферы прошлого опыта, познаваемого в данный момент переживаемого настоящего. Продуцированная в процессе такого рода ментально-когнитивной деятельности информация может быть вербализована в целой совокупности текстов, циркулирующих в пространстве выявленного нами на основе исследования обширного немецкоязычного материала *ретроспективного дискурса* и обладающих соответствующим коммуникативно-прагматическим функционалом (подробнее см.: [Бондарева 2019]). Именно в текстах данного типа дискурса в ходе ретроспективной концептуализации осуществляется фиксация реконструируемых фактов и событий из личного прошлого опыта речевого субъекта или из чужого прошлого опыта.

В результате нам удалось выявить тот факт, что прямой или опосредованный характер вхождения прошлого опыта в сознание отправителя текста определяет конкретный подтип ретроспективного дискурса. Так, при функционировании механизмов личностной, или автобиографической, памяти, когда речевой субъект ориентирован на воссоздание своего рода ментального «слежка» определенного момента из сферы индивидуального прошлого опыта, имеет место прямая интеграция этого факта в его сознание, что ведет к структурированию *индивидуально обусловленного подтипа ретроспективного дискурса* (далее — ИОПРД). Наиболее показательным примером текстов подобного рода служат тексты мемуарно-автобиографической литературы, характеризующиеся высокой степенью субъективизма, эгоцентрированностью, граничащей порой с солипсизмом, и богатым эмоционально-оценочным потенциалом.

В свою очередь, при использовании знаний о прошлом, передающихся от поколения к поколению и являющихся достоянием всего социума, то есть при воспроизведении событий чужого, лично не пережитого опыта, речевой субъект интегрирует эти события в свое сознание опосредованно, через призму коллективной памяти, что способствует формированию *коллективно обусловленного подтипа ретроспективного дискурса* (далее — КОПРД). Спектр текстов КОПРД обладает большим жанровым разнообразием и представлен главным образом

историографическими текстами нефикционального и фикционального характера, а также научными, научно-популярными и художественными биографиями.

При всем принципиальном отличии текстов ИОПРД от текстов КОПРД следует помнить, что речь в этой ситуации идет тем не менее о едином дискурсивном пространстве, вследствие чего представляется возможным говорить о ряде признаков, на основе которых нами проводится делимитация ретроспективного дискурса в двух его разновидностях в сфере совокупных дискурсивных практик.

Вполне понятно, что при проведении процедуры параметризации любого типа дискурса необходимо принимать во внимание наличие у него комплекса экзистенциальных, необходимых признаков и дополнительных, альтернативных признаков. Необходимые признаки носят конституирующий характер, поскольку они являются основой стабильности, консистентности определенного дискурсивного типа и свидетельствуют о наличии центробежных тенденций в полидискурсивном пространстве. Дополнительные признаки являются достаточно подвижными, так как они служат проявлением действия центростремительных тенденций, также неизбежных при структурировании каждого типа дискурса в силу возможности вариативной множественности его конкретных текстовых реализаций в реальных условиях литературной коммуникации.

Мы полагаем, что при интерпретации конституирующих признаков ретроспективного дискурса необходимо различать особенности их реализации в динамическом и статическом аспектах, что соответствует синтетическому характеру порождения и структурирования данного типа дискурса. В динамическом аспекте к числу таких признаков относятся основополагающий ретроспективный характер когнитивной деятельности речевого субъекта и функционирование различных видов памяти, имеющее своим следствием формирование ИОПРД или КОПРД. В плане статики актуальными конституирующим параметрами выступают типологическая амбивалентность текстов ретроспективного дискурса, предполагающая существование симбиоза фактуального и фикционального начал, и лимитированный характер жанрового репертуара подразумеваемых текстов.

Дополнительные признаки ретроспективного дискурса реализуются в форме дифференцирующих и идентифицирующих признаков: набор дифференцирующих признаков позволяет разграничить два его ранее упомянутых подтипа, а идентифицирующие признаки, согласно своему наименованию, дают возможность осуществить однозначную идентификацию одного из двух подтипов в качестве такового, в результате чего делимитация второго подтипа происходит чисто автоматически в порядке метода исключения. Иными словами, идентифицирующие признаки имеют константный характер своей реализации в пространстве ИОПРД, в то время как их проявление в секторе КОПРД исключается полностью.

В качестве дифференцирующих признаков ретроспективного дискурса нами были установлены акт самопрезентации речевого субъекта, двухмерность темпорального текстового континуума и синкретизм представленной в текстах языковой картины мира. Процедура самой дифференциации двух подтипов дискурса происходит на основе семантической оппозиции «облигаторность проявления признака — флукутация признака в тексте»: если облигаторность проявления этих признаков присуща текстам ИОПРД, то текстам КОПРД свойственен их флукутирующий характер.

Что касается идентифицирующих признаков, присущих исключительно текстам ИОПРД, то к ним относятся онтологически обусловленное расслоение речевого субъекта и вербализация концепта «память».

Все вышеуказанные параметры ретроспективного дискурса реализуются в полной мере в соответствующих жанрово лимитированных текстах, вследствие чего представляется целесообразным перейти к рассмотрению характера функционирования языковых единиц, выступающих в качестве актуализаторов этих параметров.

Как отмечалось выше, языковой инвентарь подобного рода может быть зафиксирован только в текстах ИОПРД, к которым относятся разнообразные произведения мемуарно-автобиографического жанра, а именно автобиографии как таковые, мемуары, записки и литературные портреты. Анализ лексем, являющихся средством экспликации концепта «память», логично

осуществлять с учетом его полевой структуры, что подразумевает поуровневое рассмотрение соответствующих языковых средств.

Обратимся к исследованию *ядерной зоны* концепта «память», компонентами которой служат все языковые единицы с семантикой функционирования процессов памяти, однако предварительно следует сделать небольшое отступление относительно возможных подходов к онтологическому аспекту данной проблемы.

Не совсем однозначным до настоящего времени можно считать вопрос о количестве и характере процессов памяти, или, говоря иными словами, ее компонентов. Как указывает Р. Солсо, общая анатомия памяти, или первая современная теория двойственной памяти, была представлена в ранней модели Н. Во и Д. Нормана, а в более поздней известной модели Аткинсона — Шифрина описывается система памяти человека, которая может проследивать путь входящей информации и «осуществлять определенное управление своей ограниченной пропускной способностью по обработке информации» [Солсо 1998: 547]. Необходимо упомянуть при этом тот факт, что впервые о двухкомпонентной модели памяти речь идет у У. Джеймса (и немецкого физиолога Экснера), который понимал под первичной памятью непрерывное сохранение представления в пределах поля сознания, а под вторичной — повторное возвращение представления в сознание после того, как оно его покинуло (см.: [Величковский 2006: 112]).

Что касается последующей модели памяти Р. Аткинсона и Р. Шифрина, то она представляла собой трехкомпонентную структуру, состоящую из сенсорного регистра, кратковременного хранилища и долговременного хранилища. Как констатирует Р. Аткинсон, информация сначала поступает в систему через рецепторы и передается в сенсорный регистр практически без какой-либо обработки, но здесь она быстро утрачивается, то есть стирается или «списывается» вновь поступившей информацией. При этом кратковременное хранилище служит оперативной памятью ограниченной емкости, а долговременное хранилище является емким и, по сути, вечным хранилищем памяти [Аткинсон 1980: 275—276].

В своих комментариях к модели Аткинсона — Шифрина Б. М. Величковский отмечает, что упоминающийся в ней термин «сенсорные регистры» соответствует понятию ультракороткой зрительной памяти в работах Дж. Сперлинга, кратковременное хранилище (оно же первичная память) подразумевает кратковременную память с ограниченным объемом и вербальным повторением в качестве способа сохранения информации, а долговременное хранилище (вторичная память) является долговременной семантической памятью с очень большим объемом пассивно сохраняемой информации [Величковский 2006: 112].

Современный американский нейропсихолог Л. Дженова полагает возможным говорить о четырех этапах формирования памяти, включающих в себя кодирование, консолидацию, хранение и извлечение информации. На этапе кодирования мозг берет информацию и переводит ее на язык нервной системы, в процессе консолидации происходит объединение прежде не связанной нервной деятельности в «единый паттерн ассоциированных связей». При хранении этот паттерн активности поддерживается с помощью постоянных структурных и химических изменений в нейронах, а на этапе извлечения, активируя эти ассоциированные связи, мы можем мысленно вернуться к тому, чему научились и что испытали, чтобы заново пережить это [Дженова 2022: 24].

В работах отечественного исследователя С. Л. Рубинштейна основное внимание уделяется таким процессам памяти, как запечатление информации, или запоминание, и воспроизведение информации, или последующее узнавание. В отношении процесса сохранения высказывается мысль о его динамическом характере, что предполагает после усвоения человеком определенного материала дальнейшую переработку этой информации, а также ее селекцию, конкретизацию и т. д. [Рубинштейн 1998: 215—217]. Согласно В. Д. Шадрикову, к основным процессам памяти все же следует относить такие составляющие, как запоминание, сохранение и воспроизведение информации. При этом важно, что сохранение имеет две стороны: собственно сохранение и, соответственно, забывание как процесс, противоположный (или сопутствующий) сохранению [Шадриков 2007: 108—110].

В данном контексте следует напомнить о том, что в отношении процесса забывания существуют, как пишет А. П. Лобанов, две основные теории. В рамках первого подхода забывание рассматривается в качестве естественного и пассивно протекающего процесса постоянного угасания следов памяти, а представители второй концепции, именуемой теорией интерферирующего торможения, видят в забывании результат отрицательного влияния предшествующей деятельности, то есть проактивного, направленного вперед торможения, или последующей деятельности, означающей ретроактивное торможение, направленное назад [Лобанов 2012: 216].

Данные, полученные в сфере когнитивной психологии, находят убедительное подтверждение в исследованиях современных лингвистов. Категория памяти, в частности на материале немецких глаголов, была подвергнута обстоятельному анализу в работах Л. Н. Ребриной, описывающей иерархическую структуру лексико-семантической группы глаголов памяти. В этой группе доминирующими лексемами являются глаголы *erinnern*, *vergessen*, *wissen* и *lernen*, которые возглавляют ряд соответствующих подгрупп глаголов, обладающих семантикой воспроизведения, утраты, сохранения и хранения информации в памяти [Ребрина 2012: 17].

Однако в процессе нашего исследования немецкоязычных текстов ретроспективного дискурса для выявления и фиксации системы экспликаторов механизмов памяти мы исходили, как это было указано выше, из необходимости учета полевой структуры концепта «память», вследствие чего интерпретация подразумеваемого концепта осуществлялась нами по его отдельным иерархически обусловленным зонам.

Итак, в **ядерной зоне** номинативного поля концепта «память» находятся, помимо существительных *Gedächtnis*, *Erinnerung* и *Erlebnis* (в значении «былое, пережитое; памятное событие»), глаголы с семантикой запоминания, сохранения / забывания и воспроизведения информации. Обратимся к рассмотрению группы глаголов **запоминания**, к которым относятся глагольные лексемы с активным и пассивным значением *sich einprägen*, *sich eindrücken*, *sich merken*, а также их производные.

Глагол *sich einprägen* в значении «запоминаться, врезаться в память» упоминается, например, в следующем текстовом фрагменте из автобиографии классика немецкой литературы XIX века Т. Фонтане «Meine Kinderjahre. Autobiographischer Roman», в котором автор вспоминает о силе потрясения его сознания в детском возрасте в связи с одним страшным преступлением, совершившимся в родном городе:

Die Geschichte mit Mohr blieb für mich das große Stadtereignis, und nur einzelnes, bei dem die Elemente eine Rolle spielte, *prägte sich* mir mit ähnlicher Lebendigkeit *ein* (здесь и далее курсив наш. — Л. Б.) [Fontane, S. 118].

Аналогичные размышления автора о глубине впечатлений, полученных в период самого раннего детства, кажущихся порой незначительными, однако способных влиять на формирование человеческой личности, говорится в воспоминаниях немецкого музыканта М. Вика «Zeugnis vom Untergang Königsbergs. Ein „Geltungsjudе“ berichtet», где в качестве маркера процесса непроизвольного запоминания функционирует причастие *prägend*, производное от глагола *sich einprägen*, рассмотренного в предыдущем примере:

Andere Erinnerungen zeigen wechselnde Szenen, oft von scheinbarer Belanglosigkeit, aber sicherlich *prägender* Kraft, denn das kindliche Innenleben erweitert sich besonders durch die allerersten Eindrücke [Wieck, S. 43].

Однако, как показали исследования, более репрезентативной в текстах ИОПРД является группа языковых единиц, референциально соотносящихся с процессами *сохранения / забывания* речевым субъектом информации из сферы прошлого опыта. Классическими экспликаторами факта сохранения событий прошлого в личностной памяти служат глаголы *sich erinnern*, *sich entsinnen*, *gedenken* в значении «помнить что-либо», а также глагольные словосочетания с активным и пассивным значением, в состав которых входят ядерные существительные поля

памяти *Gedächtnis* и *Erinnerung* типа *etw. im Gedächtnis / in Erinnerung haben, aufbewahren, behalten; jmdm im Gedächtnis / in Erinnerung bleiben, sein, stehen* и пр.

Важно отметить, что упомянутые глаголы обладают, помимо семы сохранения информации, также семой ее воспроизведения, а глаголу *gedenken* присуща и сема припоминания чего-либо. Вследствие данного обстоятельства экспликация актуальной в контексте анализируемого материала семы сохранения фрагментов прошлого опыта в памяти автора воспоминаний может осуществляться посредством дополнительного использования речевым субъектом лексических маркеров-квалификаторов, сопровождающих эти глаголы. Так, всемирно известный композитор Р. Вагнер пишет в своей автобиографии «*Mein Leben*», по праву считающейся одним из лучших произведений автобиографического жанра в литературе Германии, о том, что он очень хорошо помнит (*nur sehr deutlich*) свое изначальное пристрастие к немецкой опере:

Ich *entsinne mich nur sehr deutlich*, daß ich von je mich für die deutsche Oper erklärte... [Wagner, S. 35].

Характерно, что достаточно распространенным средством актуализации этой же семы служит глагол *wissen*, который в указанном значении зафиксирован в форме устойчивого речевого оборота *weißt du noch?* (*помнишь ли ты еще об этом?*) в немецко-русском словаре под редакцией О. И. Москальской [Большой немецко-русский словарь 1980: 601]. Усилению или ослаблению контекстуальной семантики глагола *wissen* могут в немалой степени способствовать наречия-квантификаторы типа *noch, nur, gewiß, genau* и пр., как это наблюдается, в частности, в примере из текста фикциональных воспоминаний пожилой безымянной женщины — героини романа М. Марон «*Animal triste*», продолжающей хранить многие годы память о минутах встречи с любимым мужчиной:

Ich *weiß genau*, daß Franz an diesem Abend ja gesagt hat, ein sehn-süchtiges, an sich selbst verendendes Ja und sein mattes Echo; seit zehn oder zwanzig Jahren *weiß* ich es wieder [Maron, S. 56—57].

К анализируемой группе языковых единиц относятся и многочисленные варианты конструкций негативной семантики, в состав которых входит глагол *vergessen* и его производные. О невозможности забыть, а значит, о способности человека навсегда сохранить в памяти события, связанные с началом Первой мировой войны, пишет в своих воспоминаниях «Geschichte eines Deutschen. Die Erinnerungen 1914—1933» немецкий журналист-пацифист С. Гафнер:

Nie werde ich diesen 1. August 1914 vergessen, und immer wird die Erinnerung an diesen Tag ein tiefes Gefühl von Beruhigung, von gelöster Spannung, von „Alles wieder gut“ mit heraufbringen. So seltsam kann das „Geschichte-Miterleben“ vor sich gehen [Haffner, S. 15].

Нередко наиболее памятные события атрибутируются субъектами ретроспективной деятельности производным от глагола *vergessen* прилагательным *unvergesslich*, что можно наблюдать в следующем фрагменте текста из уже упоминавшихся ранее воспоминаний М. Вика, в которых автор ностальгирует по своему предвоенному детству, проведенному в Кёнигсберге:

Unvergeßliche Stunden verbrachten wir auf der Rodelbahn in Luisenwahl und mit Skilaufen am Veilchenberg [Wieck, S. 45].

Вполне очевидно, что глагол *vergessen* служит основным языковым маркером феномена забывания, который рассматривается нами в качестве своего рода обратной стороны медали, именуемой памятью. Действительно, забывание можно трактовать как некую трансформацию памяти и ее переход в иное состояние под действием определенных центробежных сил, функционирующих в нашем сознании. Являясь непрямым условием существования памяти в рамках диалектического единства обоих подразумеваемых феноменов, забывание обозначает, по сути, процесс «опустошения» памяти-хранилища, субстанциальные признаки которой таким образом постепенно ослабевают вплоть до их полного исчезновения.

В ходе исследования особенностей манифестации процесса забывания в текстах ИОПРД нами были выявлены две основные подгруппы языковых единиц, референциально соотносящихся

с этапами полного и частичного забывания речевым субъектом прошлой информации в ходе познания им личностного опыта. Однако предварительно следует дать необходимый комментарий относительно психологического аспекта интерпретируемой проблемы.

В целом в психологии забывание рассматривается в качестве процесса, который характеризуется «постепенным уменьшением возможности припоминания и воспроизведения материала» [Краткий психологический словарь 1985: 98]. Забывание, как и сама память, носит селективный характер, поскольку связано, как правило, с теми жизненными этапами, которые утратили для личности свое значение или противоречат ее устремлениям и нынешним ценностям [ср.: Рубинштейн 1998: 230].

Такого рода стирание отдельных событий и переживаний в сознании речевого субъекта может осуществляться на нескольких этапах в виде легких провалов памяти вплоть до полного исчезновения информации о прошлом.

При вербализации процессов *частичного забывания* в текстах ИОПРД появляются специфические лексические и грамматические актуализаторы семы вероятностного, предположительного характера излагаемого, сигнализирующие об определенных сомнениях автора в отношении адекватности и точности реконструируемых им событий. Совершенно естественно предположить, что подобные языковые единицы должны отличаться многообразием своих вариантов и модификаций, тем не менее на основании анализа обширного текстового материала нам удалось в известной мере их систематизировать и классифицировать.

На лексическом уровне подразумеваемые средства представлены следующими основными группами:

1. Глаголы и словосочетания с семой сохранения информации, сопровождающиеся отрицанием *nicht* в сочетании с наречиями-квалификаторами мелиоративного характера *gut*, *deutlich*, *genau* и пр.

Подобная ситуация находит свое отражение в цитируемом ниже фрагменте автобиографии Р. Вагнера «Mein Leben», в ко-

тором композитор упоминает факт недостаточно отчетливого сохранения в памяти причин исчезновения из его поля зрения неприятных ему, но не столь значащих для него людей:

Ich *entsinne mich nicht deutlich*, welches Schicksal die ein oder zwei Raufdegen aus Leipzig entfernt hatte, mit welchen ich noch aus der verderblichen Ferienzeit her engagiert war... [*Wagner*, S. 60].

2. Глаголы и словосочетания с семой сохранения информации, сопровождающиеся наречиями-квалификаторами, которые подтверждают нечеткий, приблизительный характер сообщаемой информации из сферы прошлого опыта речевого субъекта (напр., *schlecht, undeutlich, unklar, kaum, dunkel* и т. д.).

Именно подобная конструкция употребляется в одном из эпизодов фикциональных воспоминаний самовлюбленного кота Мурра, рассказывающего читателям о своих детских впечатлениях на страницах романа Э. Т. А. Гофмана «*Lebensansichten des Katers Murr...*»:

Ganz dunkel erinnere ich mich gewisser knurrender, prustender Töne, die um mich her erklangen und die ich beinahe wider meinen Willen hervorbringe, wenn mich der Zorn überwältigt [*Hoffmann*, S. 12].

3. Модусные глаголы с семантикой докастической модальной оценки, функционирующие в качестве главного предложения в составе сложноподчиненного предложения или в виде вводных конструкций.

Парентетическое включение *glaube ich* с глаголом предположения *glauben* в значении «думать, полагать» встречается в одной из фраз в воспоминаниях Г. Иеринга «*Begegnungen mit Zeit und Menschen*», когда автор не может абсолютно точно вспомнить, от кого он услышал новое для него название небольшого приспособления для нагрева:

„Stoven“, nannte mein Vater, *glaube ich*, diese kleine Heizbank, die... einen Nase und Augen reizenden Geruch aus Kohle und Feuchtigkeit entwickelte [*Jhering*, S. 23—24].

В этом же значении глагол *glauben* в составе главного предложения, занимающего начальную позицию в сложноподчинен-

ном предложении, свидетельствует о неуверенности героини романа М. Марон «Animal triste», вспоминающей, действительно ли она получила письмо от дочери с сообщением о намечающемся приезде:

Ich *glaube*, daß meine Tochter mir geschrieben hatte, sie wolle mich besuchen [Maron, S. 231].

Глагол *annehmen* («предполагать») употребляет в своих автобиографических воспоминаниях «Beim Häuten der Zwiebel» известный немецкий писатель Г. Грасс, высказывающий мнение относительно неведения своего дяди о том, что книга «Im Westen nichts Neues», которую читал его племянник, относилась в описываемый период времени к числу запрещенных в Германии, как этого, собственно говоря, не знал тогда и сам рассказчик:

Ich *nehme an*, daß mein Onkel nicht gewußt hat, daß „Im Westen nichts Neues“ zu den verbotenen Büchern gehörte, wie ja auch ich die Geschichte von jämmerlichen Verrecken der jungen Freiwilligen des Ersten Weltkrieges las, ohne zu ahnen, daß dieser Roman zu den verbrannten Büchern gehört hatte [Grass, S. 111].

4. Модальные слова с семой предположительности типа *wahrscheinlich*, *wohl*, *vielleicht*, *vermutlich* и пр., которые можно считать, по мнению О. Е. Рымкевич, языковыми единицами со смысловым стержнем «проблематическая достоверность» [см.: Рымкевич 1991: 7].

Совершенно очевидно, что степень сомнений субъекта ретроспективной деятельности в степени достоверности реконструируемых им фактов прошлого опыта является переменной величиной — от почти полной уверенности до практически полной неуверенности в аутентичности воспроизводимого на страницах собственных воспоминаний. В результате экспликация диапазона соответствующих колебаний автора может сопровождаться возникновением усложненных модификаций модальных квалификаторов уточняющего характера и даже целых цепочек подобного рода.

Наглядным примером является фрагмент воспоминаний Г. Грасса, в котором высказываются предположения творческо-

го субъекта о том, что действительно могло иметь место в его классной комнате после проведения занятий кулинарного курса для начинающих. Предварительное замечание о собственной неуверенности в подлинности изображаемого (*nicht sicher, etwa... oder*) сопровождается модальным оператором *womöglich*, свидетельствующим о нарастающей убежденности говорящего в истинности высказывания, и, наконец, усиление этой убежденности подчеркивается благодаря введению модальной частицы *doch* (*doch möglicherweise*):

Auch *bin ich mir nicht sicher*, ob der von mir so zweifelsfrei erinnerte Unterrichtsraum nach der Doppelstunde „Kochkurs für Anfänger“ ungenutzt geblieben ist, oder ob zwischen seinen Wänden anderes Wissen mit Hilfe der abwaschbaren Schultafel, *etwa* das Altgriechische oder die Gesetze der Statik, unterrichtet wurden. *Womöglich* hat man dort erste Gewinnspannen des späteren Wirtschaftswunders als Profitmaximierung errechnet... *Doch möglicherweise* diente der Vielzweckraum auch Gottesdiensten dieser und jener Konfession [Grass, S. 201].

На грамматическом уровне процесс частичного забывания речевым субъектом фрагментов прошлого опыта реализуется главным образом, согласно результатам нашего исследования, в виде следующих конструкций:

1. Условные придаточные предложения с семантикой предположительного характера качества сохранения информации.

В автобиографии известного австрийского писателя-модерниста А. Шницлера «*Jugend in Wien. Eine Autobiographie*» автор высказывает в рамках данной синтаксической конструкции свои сомнения относительно результатов завершения противостояния двух политических группировок в Германии:

Zwischen beiden Verbänden kam es in der Folge zu Reibereien, die, *wenn ich nicht irre*, mit der Auflösung des deutschnationalen endeten... [Schnitzler, S. 98].

2. Рестриктивное придаточное предложение *soweit ich mich erinnern kann / erinnere* с семантикой предположительного характера качества сохранения информации.

В своих воспоминаниях немецкий публицист Г. Иеринг подробно описывает сохранившийся в памяти судебный процесс, связанный со скандальным поведением актера и режиссера Альберта Гейне, однако, во избежание возможных упреков в некотором несоответствии излагаемого реальной прошлой действительности или какой-либо личной предвзятости, делает оговорку указанного типа:

In München aber gab es damals einen sogenannten Hoftheaterprozeß, der Zeitungen und Publikum in Atem hielt. Es ging, *soweit ich mich erinnere*, um einige derbe Äußerungen des Schauspielers und Regisseurs Albert Heine, dem einige Hofschauspielerinnen „unsittliche“ Bemerkungen vorwarfen [Jhering, S. 86].

3. Ирреальные сравнительные придаточные предложения, в состав которых входят полузнаменательные глаголы субъективной модальности *scheinen*, *sein* (в значении *scheinen*), *vorkommen* или лексика с семантикой сохранения информации.

Mir kommt es vor, als ob... («Мне кажется, как будто...») — так оценивает с высоты прожитых лет обилие возникших в Париже новых знакомств сын всемирно известного литературного «чародея» Т. Манна Клаус Манн, вспоминая годы вынужденной эмиграции на страницах автобиографии «Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht»:

Mir kommt es vor, als ob ich nie wieder in meinem Leben so viele Menschen kennengelernt hatte... wie damals in Paris [Mann, S. 211].

4. Глагольный предикат, в состав которого входят модальный глагол и смысловой глагол в форме Infinitiv II.

Употребляя подобную грамматическую конструкцию, говорит о предполагаемом возрасте своего отца в описываемый ею период времени кёнигсбергская писательница-феминистка XIX века Ф. Левальд в первом томе автобиографии «Meine Lebensgeschichte»:

Mein Vater war der dritte Sohn des Hauses. Er *kann* zu der Zeit, in welcher mein Großvater im Gefängnis war, nicht über acht Jahre alt *gewesen sein* [Lewald, Bd. 1, S. 10].

Безусловно, спектр формулировок предположительного характера, употребляющихся авторами текстов ИОПРД на лексическом и грамматическом уровнях, может быть расширен за счет разнообразных индивидуально обусловленных вариантов этих высказываний. Так, Г. Грасс сохраняет в своей памяти случай потери им во время войны части обмундирования при забывании своего конкретного местоположения в этот момент, что может быть расценено как факт частичного забывания события, то есть утраты его локальных координат:

Da mir, *weißnichtmehr*wo, mein Regenschutz, die Zeltplane und, schlimmer, der Karabiner abhanden gekommen waren, hatte man mich mit einer Maschinenpistole aus italienischer Produktion bewaffnet... [Grass, S. 152].

В романе Б. Шлинка «Der Vorleser» фикциональный рассказчик, реконструирующий историю своей юношеской любви к взрослой женщине, упоминает возникшую на одном из семинаров во время его учебы дискуссию о запрете на наказание, имеющее обратную силу, — факт, сохранившийся в его сознании, однако он не может вспомнить цель и ход мысли выступающего, что означает, по сути, ситуацию сохранения в памяти ментальной формы без содержания:

Ich *weiß nicht mehr*, was er überprüfen, bestätigen oder widerlegen wollte. Ich erinnere mich, daß im Seminar über das Verbot rückwirkender Bestrafung diskutiert wurde [Schlink, S. 86].

Аналогичное сохранение в памяти лишь отдельных деталей, связанных с первыми детскими впечатлениями от посещения театра, а именно дороги в театр и момента лицезрения актеров на сцене в непосредственной близости, описывается в воспоминаниях Ф. Левальд, которая одновременно отмечает при этом полное забывание временных координат и инициаторов воспроизводимого события:

Ob wir dort zu früh angekommen sind, ob mein Vater zufällig heraustrat und mich mit in das Theater hinein nahm, das *weiß* ich alles

nicht mehr. Nur des Weges erinnere ich mich und des Augenblickes, in dem ich ... plötzlich die Schauspieler in der befremdlichen Nähe vor mir erblickte [Lewald, Bd. 1, S. 108].

Следующим феноменом, находящим свое языковое воплощение в текстах воспоминаний при вербализации процесса сохранения информации, является ситуация *полного забывания* фрагментов прошлого. В данном случае необходимо выделить следующие виды соответствующих языковых средств:

1. Глагол *vergessen*, находящийся в ядерной зоне концепта «память», как это было указано ранее, в качестве экспликатора процесса забывания наряду с глаголами, передающими процессы запечатления, сохранения и воспроизведения информации.

В рассказе Г. Гессе «Das erste Abenteuer» герой, вспоминая свои первые любовные переживания, одновременно сетует на то обстоятельство, насколько быстро человек забывает многие фрагменты собственного жизненного опыта. Рассуждения рассказчика по этому поводу содержат глагол забывания *vergessen* и глагол *wissen* с семой сохранения информации:

...ich sehe Gymnasiasten und *weiß kaum mehr*, daß ich auch einmal einer war. Ich sehe Maschinenbauer in ihre Werkstätten und windige Kommis in ihre Bureaus gehen und *habe vollkommen vergessen*, daß ich einst die gleichen Gänge tat, die blaue Bluse und den Schreibersrock mit glänzigen Ellenbogen trug [Hesse, Das erste Abenteuer, S. 101].

2. Глаголы с семантикой утраты, исчезновения, изменения качества чего-либо, часто с характерными префиксами *ver-* и *ent-* (напр., *verschwinden*, *verlieren*, *verbleichen*, *verblassen*, *entschwinden*, *entfallen*, *entweichen* и пр.), сопровождающиеся ядерными существительными поля памяти *Gedächtnis* и *Erinnerung*. В своем автономном употреблении данные глаголы, безусловно, функционируют на дальней периферии номинативного поля концепта «память», что будет рассмотрено ниже.

В фикциональных мемуарах господина Шнабелевопски из известного одноименного произведения Г. Гейне высказывание главного героя в подобной форме касается его воспоминаний о колыбельной песне, которой малыша убаюкивала двоюродная бабушка, но слова и мелодия которой «выпали» из его памяти:

Meine Großtante... pflegte meine erste Kindheit und erzählte mir viele schöne Märchen und sang mich oft in den Schlaf mit einem Liede, dessen Worte und Melodie meinem Gedächtnis *entfallen* [Heine, S. 281].

В данной связи не требует специального комментария то обстоятельство, что в функции маркеров процесса полного забывания могут выступать, соответственно, любые глаголы, обладающие семантикой приобретения, нахождения, обнаружения, усвоения чего-либо в сочетании с отрицанием *nicht* и аналогично относящиеся к компонентам дальней периферии поля концепта «память». Кроме того, случаи полного забывания субъектом ретроспективной когнитивной деятельности отдельных событий из собственной жизни нередко сопровождаются специальным авторским комментарием относительно причин несохранения в памяти информации об отдельных эпизодах прошлого опыта.

Достаточно любопытные примеры борьбы речевого субъекта с собственной памятью в целях ее освобождения от определенной информации из прошлого и, таким образом, достижения полного забывания этих фактов наблюдаются в полуавтобиографическом романе Э. Юнгера «*Afrikanische Spiele*», представляющем собой фикциональные воспоминания Герберта Бергера — alter ego писателя. При упоминании героем, рассказывающим о не слишком приятных эпизодах во время службы в Африке в рядах французского Иностранного легиона, в его высказываниях употребляются выражения *aus der Erinnerung verbannen* и *aus dem Sinn schlagen*, которые указывают на активные ментальные усилия говорящего, стремящегося избавиться от мучительных переживаний и впечатлений. Об этой же целенаправленной борьбе с самим собой свидетельствуют глагол *beschließen* и словосочетание *bestrebt sein*, предвещающие описание данного процесса. Симптоматичным в обоих цитируемых ниже текстовых примерах является сравнение сознательно вытесняемых из памяти событий с бессвязным сном (*wie einen... Traum, wie im Traume*):

Der Inhalt dieser kurzen Wochen erschien mir schon so absurd, daß ich beschloß, ihn *aus der Erinnerung zu verbannen* wie einen närrischen und unzusammenhängenden Traum [Jünger, S. 166];

Es ist merkwürdig, daß ich an das alles, obwohl es doch so wichtig für mich wurde, mich nur zuweilen wie im Traume zu entsinnen vermag. Überhaupt war ich bald bestrebt, es mir *aus dem Sinn zu schlagen* und munter drauflos zu leben, wie es sich gehört [Ibd., S. 169].

Наконец, при анализе языковых единиц ядерной зоны концепта «память», репрезентированных во всех текстах ИОПРД, особое внимание следует уделить характеру функционирования экспликаторов процесса *воспроизведения* фрагментов пережитого речевым субъектом, что представлено на поверхностном текстовом уровне глаголами, референциально соотносящимися с воспоминанием.

К лексемам подгруппы глаголов воспоминания следует причислить глаголы *sich erinnern, denken, sich entsinnen, gedenken* в значении «вспоминать о чем-либо», причем данное значение нередко актуализируется в тексте благодаря наличию сопровождающих глаголы наречий темпоральной семантики типа *noch jetzt, noch heute, selten, oft* и пр. или чисто квалификативного характера. Примером высказывания об отрицательном отношении к собственным детским и юношеским воспоминаниям может служить, в частности, фраза, принадлежащая анонимной рассказчице в романе М. Марон:

Ich *erinnere mich nicht gern* an meine Kindheit, schon gar nicht an meine Jugend, meistens *erinnere ich mich* darum *gar nicht* [Maron, S. 60].

Напротив, о трепетных воспоминаниях, связанных с прекрасной жизнью в одном маленьком городке, когда автор был еще ребенком, говорится в «детской» автобиографии Т. Фонтане «*Meine Kinderjahre. Autobiographischer Roman*»:

Es war ein wunderbar schönes Leben in dieser kleinen Stadt, dessen ich *noch jetzt...* unter lebhafter Herzensbewegung *gedenke* [Fontane, S. 33].

Следует добавить, что арсенал языковых средств, референциально соотносящихся с процессом воспоминания, является достаточно разнообразным, так как помимо указанных глаголов в данной функции встречаются и другие лексические варианты, как, например, глагол *zurückdenken*:

Denke ich an die Stimmung zurück, in welcher ich mich damals befand, so begreife ich es nachträglich, wie meine Tante gar nicht müde wurde, mir zu wiederholen, daß sie eine große Freude an mir habe [Le-wald, Bd. 3, S. 145];

An dieses Hurra werde ich noch mit Bitterkeit zurückdenken [Wieck, S. 165].

Завершая анализ глаголов — экспликаторов ядерной зоны концепта «память», следует указать на факт их возможной реализации в текстах ИОПРД в различных сочетаниях, например в форме моделей «запоминание информации + забывание», «полное забывание информации + воспроизведение информации», «сохранение информации + забывание информации» и т. д.

При исследовании **ближней периферии** номинативного поля концепта «память» в центре внимания оказываются лексико-семантические репрезентанты периферических видов личностной памяти, благодаря функционированию которых сенсорная информация, воспринятая в прошлом и осмысливаемая речевым субъектом в его актуальном настоящем, переходит сначала в вербальную кратковременную память, а затем в долговременную память.

Известно, что связь человека с внешним миром осуществляется по трем основным каналам перцепции, к которым относятся визуальный, аудиальный и кинестетический каналы, однако следует упомянуть, что важную роль при контакте с окружающей действительностью и запечатлении следов этого контакта в нашем сознании играют также эмоциональный и ассоциативный виды памяти.

Безусловно, глаголы, отражающие в языке особенности восприятия человеком объективной реальности, что подразумевает специфику нашей когнитивной деятельности в целом, сами по себе не функционируют в качестве экспликаторов работы лич-

ностной памяти. Важно, что именно в текстах ИОПРД данные лексемы вступают в отношения субституции с находящимися в ядерной зоне глаголами с семантикой сохранения и воспроизведения информации о прошлом опыте.

Ведущую роль в процессе консервации воспринятой информации играет *визуальная память*, именуемая также зрительной или иконической памятью, благодаря механизму которой в сознании субъекта сохраняются яркие картины прошлого, продолжающие «стоять» перед его внутренним взором в прежней полноте. Не случайно еще Аристотель указывал на тот факт, что «зрение больше всех других чувств содействует нашему познанию» [Аристотель 2021: 7].

Поскольку в ряду немецких глаголов с семантикой восприятия внешнего мира при помощи органов зрения несомненной доминантой является глагол *sehen*, именно данная лексема становится основным актуализатором визуальной памяти в текстах воспоминаний, употребляющимся в виде различных словосочетаний типа *vor sich sehen*, *noch sehen*, *noch vor sich sehen*, *deutlich sehen* и др. В воспоминаниях Г. Грасса в качестве подобного яркого зрительного образа, хорошо сохранившегося в памяти рассказчика, фигурирует внешность преподавателя на уроках по кулинарии, имя которого при этом оказывается полностью забытым. Данный пример является достаточно наглядным и в том плане, что в нем употребляется классическая синтаксическая конструкция *accusativus cum infinitivo* (...*sehe ich ihn... stehen...*), характерная при передаче высказываний с информацией о функционировании различных видов периферической памяти, когда в качестве смыслового глагола употребляются глаголы *sehen*, *hören*, *spüren*, *fühlen*:

Eindeutig und gegen niemanden auszutauschen *sehe* ich ihn, den Meister, vor der Schultafel stehen, auch wenn mir sein Name entfallen ist. Eine hager hochwüchsige, ins übliche Militärzeug gekleidete Apostelgestalt mittleren Alters... Auf ganz unsoldatische Art verlangte der kraushaarige Graukopf Respekt. Seine Augenbrauen waren so lang, daß man sie hätte kämmen mögen [Grass, S. 202].

Для Ф. Левальд навсегда запечатленным в сознании остается вид родного дома, ставшего для нее символом счастливого детства:

Es (здание — *J. M.*) *steht* mir mit allen seinen Einzelheiten *vor Augen*, als wäre ich gestern erst darin gewesen... Der ganze Teil der Brodbänkengasse, in welcher es gelegen war, hatte damals noch Wolme... Diese Balkons waren mit Eisengittern einfachster Art umgeben, aber die Eisengitter und das Treppengeländer hatten große Messingkugeln... u. s. w. [Lewald, Bd. 1, S. 30].

Несомненной значимостью среди периферических видов личностной памяти, находящихся свое отражение в текстах ИОПРД, обладает *аудиальная*, или акустическая, память, являющаяся точным повторением некоторых событий акустического порядка, продолжающих звучать в нашем сознании даже по прошествии времени, а именно отдельных слов, фраз, тонов и звуков музыки, любых природных звуков и пр. В функции лексических репрезентантов этого вида памяти выступают глаголы и словосочетания с семантикой слухового восприятия или внешнего воздействия на органы слуха типа *hören, im Ohr haben, im Ohr klingen, tönen* и др.

В приводимом ниже фрагменте автобиографии К. Манна фиксация акустического образа (*ich höre*) сопровождается типичным авторским комментарием в форме парентетического включения *es muß gestern gewesen sein*, свидетельствующим о яркости детских впечатлений, которые переживаются взрослым рассказчиком так, как будто все произошло только накануне:

Das Gesicht meiner Mutter war plötzlich sehr ernst geworden... Ich *höre* ihre Stimme — es muß gestern gewesen sein —, ein heiseres Flüstern... [Mann, S. 349].

Нередко в текстах воспоминаний встречаются факты вербализации процессов *кинестетической* памяти, что подтверждает способность человека сохранять на длительное время вкусовые, обонятельные и разного рода тактильные ощущения, которые были связаны с определенными моментами в жизни при непосредственном взаимодействии с объектами его познания.

Как отмечает на страницах своего жизнеописания Ф. Левальд, самым мощным посредником при реконструкции прошлых событий может являться запах. В памяти писательницы запах свежих овощей неизменно пробуждает приятные воспоминания о ясных осенних утренних часах, когда она, будучи девочкой, шла со своим ранцем в школу, вдыхая по дороге аромат зеленых яблок и пряные запахи кореньев, которые транспортировались на продажу в город на тяжело груженных телегах. Непосредственными экспликаторами многократного регулярного переживания события, имевшего место в жизни автора много лет назад, служат существительное *der Geruch* и ядерное существительное *die Erinnerung*, глагол с семантикой припоминания *zurückrufen*, находящийся в зоне дальней периферии концепта «память» и сопровождающийся наречием *regelmäßig*, а также классическая для текстов ИОПРД оппозиция «сейчас — тогда», реализующаяся в виде контекстуального варианта *heute noch — jene Herbstmorgen*:

...und heute noch *ruft mir der Geruch* frischer Gemüse *regelmäßig jene Herbstmorgen zurück*, in denen ich die Vorstadt entlang zur Schule wanderte; denn der Geruch ist der stärkste Vermittler *der Erinnerung* [Lewald, Bd. 1, S. 115].

Аналогичные ароматы детства приятно будоражат душу речевого субъекта в повести Г. Гессе «Demian», который вспоминает школьные годы, проведенные в маленьком городке и непосредственно связанные в его сознании с запахами родного дома. Данный вид кинестетической памяти эксплицируется в тексте при помощи глаголов *duften* и *riechen* с семой характера запаха:

Viel *duftet mir da entgegen* und rührt mich von innen mit Weh und mit wohligen Schauern an... Es *riecht nach warmer Enge*, nach Kaminchen und Dienstmägden, nach Hausmitteln und getrocknetem Obst [Hesse, Demian, S. 9].

Об актуальности тактильных ощущений как стимула к сохранению в памяти и последующему воспроизведению значимых для речевого субъекта материальных деталей, будь это буквально осязаемые руками материнская заколка для волос

или носовой платок, повязанный на голове отца для защиты от солнечного зноя, пишет Г. Грасс. В цитируемом ниже фрагменте его воспоминаний ключевым является словосочетание *sich ertastbar erhalten*, в котором основополагающее наречие *ertastbar* атрибутируется глаголом *sich erhalten*, выполняющим роль контекстуального синонима к рассмотренному ранее глаголу с семантикой запоминания *sich einprägen*:

Wem sich *ertastbar* die Haarspange der Mutter oder Vaters unter der Sommerhitze an vier Zipfeln geknotetes Taschentuch... *erhalten hat*, dem fallen — und sei es als unterhaltsame Ausrede — Geschichten ein, in denen es tatsächlicher als im Leben zugeht [Grass, S. 10].

При исследовании средств вербализации процессов памяти, сконцентрированных на ближней периферии номинативного поля концепта «память», заслуживающим внимания может считаться феномен *эмоциональной* памяти, что связано с переживанием авторами положительных и отрицательных эмоций разной степени интенсивности. Нетрудно предположить, что любое радостное событие естественным образом сохраняется в сознании человека в качестве источника душевного умиротворения, однако, согласно исследованиям психологов, негативные факторы оказывают более сильное влияние на нашу эмоциональную сферу и поэтому сохраняются в памяти намного дольше (см.: [Королева, 2006; Дмитриева, Кушнерова, Козырева, 2014] и др.). Именно об этом рассказывает в своей автобиографии А. Шницлер, вспоминая первую в жизни серьезную неудачу, которая запомнилась ему гораздо более отчетливо по сравнению с радостным, но уже почти «стершимся» в памяти событием:

An diese fröhliche, doch so gut wie erloschene Erinnerung knüpft sich eine andere, *etwas peinlichere, wahrscheinlich darum um so viel deutlichere an, die Erinnerung an meinen ersten ausgesprochenen Mißerfolg* [Schnitzler, S. 15].

Особенно тяжелыми потрясениями для человека часто становятся негативные события, пережитые в детском возрасте, которые накладывают отпечаток на всю последующую жизнь

и оставляют незаживающие раны в душе. Не случайно уже в зрелом возрасте во всех мельчайших подробностях вспоминает в своей «детской» автобиографии «*Damals bei uns daheim*» немецкий писатель Г. Фаллада свое первое и единственное телесное наказание, осуществленное его отцом — человеком, не использовавшим в принципе таких методов воспитания:

Ich habe schon erzählt, daß mein Vater gar nicht dafür war, seine Kinder zu schlagen... Aber einmal habe ich doch herz hafte Prügel von meinem alten Herrn bezogen, *und dieses einmalige Erlebnis hat einen so tiefen Eindruck auf mich gemacht, daß ich mich seiner in allen Einzelheiten heute noch erinnere* [Fallada, S. 27].

Настоящим эмоциональным шоком для Г. Грасса стал воспроизводимый на страницах его военных воспоминаний эпизод первой встречи с противником в результате воздушного налета советских войск, повлекшего за собой массовую гибель сослуживцев писателя. Примечательно при этом то обстоятельство, что данное воспоминание отмечено частичным забыванием его темпоральных координат, что маркируется в тексте глаголом с семантикой предположительной вероятности *vermuten*, и воспроизведением целого ряда картин, запечатленных в сознании рассказчика благодаря работе различных видов памяти:

Nur zu *vermuten* bleibt: es wird gegen Mitte April gewesen sein, als die sowjetischen Armeen nach längerem Artilleriebeschuß die deutschen Linien... durchbrachen... [Grass, S. 140].

Сначала в сознании автора возникает визуальный образ описываемой сцены действия:

Ich *sehe* unsere Jagdpanther, einige Schützenpanzer, mehrere Lastkraftwagen, die Feldküche... Knospende Bäume. Birken darunter [Ibid.].

К воспоминаниям визуального характера присоединяются тактильные ощущения (*wärmen*), а также аудиальное сопровождение (*Vogelgezwitscher, Mundharmonika spielen, das Verstummen, laut*) и эмоциональное переживание бывшего опыта (*schläfriges Abwarten, urplötzlich, vorwarnend*):

Die Sonne wärmt. Vogelgezwitscher. Schläfriges Abwarten. Jemand, nicht älter als ich, spielt Mundharmonika... Und dann, urplötzlich — oder war das Verstummen der Vögel vorwarnend laut genug? — kommt die Stalinorgel über uns [Grass, S. 140].

Любопытно, что в данном случае речь идет о применении нашими войсками знаменитой «Катюши», наводившей ужас на немцев и именуемой ими из-за производимого ею громкого звука «сталинский орган» (*die Stalinorgel*), поэтому главное внимание в данном фрагменте текста Г. Грасса уделяется именно акустическим эффектам применения нашего оружия. Пытаясь передать пережитые на фронте ощущения от грохота «Катюши», рассказчик употребляет существительные с семантикой различных видов шума (*Geheul, Fauchen, Wummern*), а осознание того обстоятельства, почему немецкие солдаты называли ее «органом», вызывает появление в воспоминаниях писателя метафорического ряда соответствующей музыкальной лексики (*die Orgel, spielen, mit dem Konzertstück fertig sein, den Ton angeben*). Действие мощного советского орудия сравнивается с органным концертом, который звучит около трех минут, показавшихся речевому субъекту целой вечностью:

Drei Minuten, eine Ewigkeit lang mag die Orgel spielen [Grass, S. 141].

Впрочем, не менее существенную роль в становлении духовной жизни субъекта воспоминаний может играть *ассоциативная* память, способствующая устойчивому и регулярно повторяющемуся осуществлению в сознании автора реконструкции определенного факта или события прошлого опыта после запуска исходного стимула. Такого рода ассоциации обладают различной природой и могут возникать на основе сходства, смежности, противоположности и пр. в силу индивидуальных психологических и эмоциональных особенностей вспоминающего.

Воспоминания М. Вика о детских зимних забавах последовательно вызывают в его сознании визуальный образ сестры Мириам, принимающей активное участие в катании младшего брата на санях, прицепленных к лошадиной упряжке с колокольчиками. Симптоматичным в подразумеваемом текстовом примере является выражение *in diesem Zusammenhang*, которое

подтверждает наличие причинно-следственных связей ассоциативного характера, связывающих отдельные фрагменты изобразяемого прошлого:

Ich erinnere mich an viel Schnee und Schneeburgen, Schneemänner und große Pferdeschlitten mit Glockengeklingel. Manchmal — einige Zeit später — hängen mehrere Kinderschlitten an so einem Pferdegesspann. *Meine Schwester Miriam taucht in diesem Zusammenhang auf.* <...> Drei Jahre älter als ich, versteht sie es, den Schlitten, auf dem ich sitze, nachlaufend an solche Schlittenschlangen anzuhakeln [Wieck, S. 29].

Обобщая обзор средств экспликации периферических видов памяти, функционирующих на ближней периферии номинативного поля концепта «память», отметим, что данные языковые единицы могут употребляться в текстах ИОПРД автономно, в сочетании друг с другом, а также в связке с репрезентантами ядерной зоны концепта, что ведет к появлению разнообразных семантических моделей типа «частичное забывание информации + акустическая память», «сохранение информации + визуальная память + тактильная память», «воспроизведение информации + эмоциональная память» и т. д.

В качестве примера может служить фрагмент эпической автобиографии К. Манна, содержащий воспоминание автора о встрече с известным американским писателем Т. Драйзером и структурированный по модели «сохранение информации + воспроизведение информации + акустическая память». О сохранении этого события в памяти автора говорит словосочетание *in Erinnerung bleiben*, о процессе воспоминания свидетельствует глагол *zurückdenken*, а маркером работы акустической памяти служит базовый глагол *hören* в форме настоящего времени, соответствующий актуальной для речевого субъекта временной перспективе:

Es ist ein schlechtgelaunter, zorniger Dreiser, der mir *in Erinnerung bleibt*. Wenn ich an den Abend *zurückdenke*, den ich in seiner Gesellschaft verbrachte... so *höre* ich eine ewig aufgebrauchte, nörgelnde quengelnde Stimme [Mann, S. 454].

Что касается *дальней периферии* поля концепта «память», то в этом случае речь следует вести о языковых единицах, которые не обладают семантикой запоминания информации, ее сохранения или забывания и воспроизведения, но приобретают эту семантику в конкретной повествовательной ситуации, складывающейся в текстах ИОПРД, трансформируясь таким образом в контекстуальные синонимы рассмотренных ранее репрезентантов ядерной зоны. Данную функцию могут выполнять глаголы с семантикой однонаправленного ретроградного визуального восприятия, например *zurückschauen*, *zurückblicken*, *zurücksehen*, либо глаголы движения типа *zurückgehen*, *sich zurückbewegen*, *zurückspringen*, *zurückschleichen* и пр. (в активном и пассивном значении), как это имеет место, в частности, в автобиографических воспоминаниях Ф. Левальд (1) или в фикциональном описании собственной жизни «бедного человека из Токенбурга» на страницах книги У. Брекера «Lebensgeschichte und Abenteuer des armen Mannes im Tockenbурg» (2):

(1) Und heute *blicke* ich wieder *zurück*, und die Johannisfeuer brennen auf der Höhe und leuchten hinab auf einen langen wechselvollen Weg... [Lewald, Bd. 3, S. 157].

(2) Es ist Wollust, süße, süße Wollust, so in diese seligen Tage der Unschuld *zurückzugehen*, sich all die Standorte wieder zu vergegenwärtigen [Bräker, S. 60—61].

Достаточно часто аналогичная ситуация возникает при фиксации факта *припоминания* речевым субъектом отдельных моментов прошлого опыта, чему, как правило, сопутствует некая реанимация соответствующих эмоций, чувств и ощущений. Как отмечает психолог Я. Л. Коломинский, припоминание представляет собой умственный труд, работу, сопряженную с духовными и душевными усилиями [Коломинский 1986: 108].

Средствами вербализации подразумеваемого процесса, направленного на реконструкцию размытых в долговременной памяти событий прошлого, служат глаголы с семантикой интенсивных усилий субъекта высказывания по осуществлению какого-либо вида физической или умственной деятельности,

например *wiedererleben*, *wachrufen*, *zurückrufen*, *sich zwingen* и т. д., употребляющиеся преимущественно в составе темпоральных или условных придаточных предложений. Для усиления семантического потенциала таких высказываний может дополнительно использоваться глагол *(ver)suchen*, предшествующий в структуре предложения глаголу припоминания.

Характерным примером такого рода является фраза из воспоминаний К. Манна «Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht». Писатель говорит о своих попытках вновь ощутить во всей полноте определенные детские переживания, что сразу вызывает появление перед его внутренним взором материнской комнаты, обычно недоступной для детей:

Wenn ich *versuche*, die vergangene Situation in mir *wachzurufen*, finde ich mich immer in... dem Salon meiner Mutter, den wir Kinder übrigens nur selten betreten [Mann, S. 21—22].

Как отмечалось ранее, при вербализации процесса забывания в текстах ИОПРД несомненной актуальностью обладают глаголы с семантикой исчезновения, утраты или изменения качества чего-либо с приставками *ent-* и *ver-* типа *entgehen*, *entfallen*, *entrücken*, *entgleiten*, *verschwinden*, *verblassen*, *verwandeln*, *verwischen*, *verbleichen* и пр. в активном и пассивном значении, как это имеет место, например, в том же тексте автобиографии К. Манна, в памяти которого давно поблекло воспоминание о скромной квартире в Швабинге — месте его рождения:

Die bescheidene Wohnung in Schwabing, in der ich geboren wurde, ist längst *verblichen*: Wir verließen sie, als ich noch ein Baby war [Mann, S. 42].

В подобной же функции нередко выступают глаголы, относящиеся с процессами перемещения, изменения места в пространстве, передвижения и т. п. В мемуарах немецкой актрисы Элизабет Бергнер «*Elisabeth Bergners unordentliche Erinnerungen*» фигурирует глагол *sich vordrängen* в описании одного из эпизодов гастролей ее театральной труппы в Гам-

бурге с шекспировской пьесой «Как вам это понравится», когда воспоминание об этом событии буквально «протискивается» в сознание автора:

Ein Gastspielerlebnis *drängt sich jetzt vor*. Hamburg. „Wie es euch gefällt“ [Bergner, S. 81].

Однако в целом арсенал языковых экспликаторов дальней периферии номинативного поля концепта «память» — величина неограниченная, что проявляется в условиях ретроспективного контекста в самых разнообразных индивидуально обусловленных авторских вариантах.

Наконец, в *интерпретационной зоне* номинативного поля концепта «память» рассмотрению подлежат многочисленные окказиональные метафоры памяти, свидетельствующие о возможностях индивидуально-авторского осмысления данного феномена.

Следует напомнить, что традиционно центральными образами в метафорике памяти являются образы хранилища / кладовой и восковой таблички, идущие еще из античной риторики (подробнее см.: [Weinrich 2005]). В свою очередь, немецкий культуролог А. Ассман говорит в данной связи о необходимости включения в круг рассматриваемых ключевых проблем возникающую на основе метонимического переноса цепочку метафор локального характера «память — письмо» / «память — библиотека» / «память — книга» / «память — палимпсест» / «память — след». Одновременно, с учетом амбивалентной сущности памяти, которая обладает не только статическим, но и динамическим аспектом, исследователь предлагает дополнить этот ряд метафорами темпорального характера, а именно метафорами «память — пробуждение» (*Erwachen*) и «память — оживление» (*Erwecken*), что позволяет проводить определенные границы между понятиями «память» и «воспоминания» [Assmann 1991: 18—22]. Попутно стоит заметить, что, по мнению П. Рикёра, подобные утверждения имеют смысл: рассуждая о феноменологии памяти, необходимо различать в языке память как нацеленность и воспоминание как имеющуюся в виду вещь [Рикёр 2004: 43].

Не вызывает никакого сомнения тот факт, что окказиональные метафоры памяти, встречающиеся в текстах ИОПРД, могут обладать референциальной соотнесенностью как с живыми существами, так и любыми объектами материального и идеального миров, подтверждением чего служат, в частности, метафоры «память — картинная галерея» (B. von Suttner), «воспоминание — тропинка» (E. Wiechert), «воспоминание — густой напиток» (B. Schlink), «воспоминания — сокровище», «воспоминания — монетки на счастье» (K. Mann) и т. д.

Любопытным примером своеобразного словесного «поединка» речевого субъекта с собственной памятью в ходе ее непрерывной метафоризации является текст уже упоминавшихся выше автобиографических воспоминаний Г. Грасса, в названии которых — «Beim Häuten der Zwiebel» — фигурирует метафора «память — луковица», сопровождающаяся обстоятельным авторским комментарием. По мнению писателя, процесс воспоминания в некоторой степени аналогичен очистке луковицы, поскольку, чтобы добраться до скрытой сути пережитого, нужно снять все поверхностные, наносные впечатления и переживания:

Die Zwiebel hat viele Häute. Es gibt sie in Mehrzahl. Kaum gehäutet, erneuert sie sich. Gehackt treibt sie Tränen. Erst beim Häuten spricht sie wahr [Grass, S. 10].

Сама память у Г. Грасса может быть похожей на сварливого педанта, отстаивающего свою правоту в споре с шаловливым воспоминанием, предпочитающим игру в прятки и приукрашивание былого:

Die Erinnerung liebt das Versteckspiel der Kinder. Sie verkriecht sich. Zum Schönreden neigt sie und schmückt gerne, oft ohne Not. Sie widerspricht dem Gedächtnis, das sich pedantisch gibt und zänkisch rechthaben will [Ibid., S. 8].

Далее воспоминание осмысливается писателем в качестве живого существа, которое способно получать и переживать тактильные и обонятельные импульсы, поступающие из некогда

пережитой реальной действительности, и даже «разбивать колёнки» при столкновении с предметами из прошлого, что маркируется в тексте глаголами *sich reiben* и *wundstößten*:

Wer sich ungenau erinnert, kommt manchmal dennoch der Wahrheit um Streichholzlänge näher, und sei es auf krummen Wegen.

Zumeist sind es Gegenstände, an denen *sich meine Erinnerung reibt*, das Knie *wundstößt* oder die mich Ekel nachschmecken lassen: Der Kachelofen... Die Teppichklopfstangen auf den Hinterhöfen... Der Koffer auf dem Dachboden... [Grass, S. 10].

Отдельного внимания заслуживает представленная в тексте воспоминаний Г. Грасса развернутая метафора «память — киноплёнка», связанная с событиями Второй мировой войны, когда писатель, бывший в ту пору молодым солдатом вермахта, переживал период затишья, ожидая обещанное военное подкрепление — поставку танков «Тигр». Весь этот период времени со стертой в памяти конкретной датировкой вызывает в сознании автора — реконструктора прошлого опыта образ постоянно рвущейся киноплёнки, хаотично смонтированной из разрозненных кадров разных фильмов и прокручивающейся то вперед, то назад:

Diese Zeitspanne kommt mir als nicht datierbar und wie *ein aus verschiedenen Handlungsabläufen gestückelter Film* vor, der mal in Zeitlupe, dann überschnell abläuft, mal rück-, mal vorwärts gespult, immer wieder reißt, um mit anderem Personal in einem ganz anderen Film von anders gearteten Zufällen zu handeln [Grass, S. 137].

На одном из кадров такой необычной «киноплёнки» совершенно отчетливо запечатлен облик одного из ненавистных младших офицеров — «обычной фронтовой свиньи» (*das übliche Frontschwein*), как именует его Г. Грасс. Вероятно, яркость этого образа в памяти писателя обусловлена тем фактом, что офицер имел омерзительное обыкновение, удаляясь после обеда для исполнения интимных дел, вытаскивать свой вставной голубой глаз и класть его до возвращения на стол рядом с пищей солдат. Затем память автора «цепляется» за какой-то ниче-

го не значащий пейзаж (*Woran sich die Erinnerung klammert: ein Stilleben...*), за вид солдат, охраняющих несколько замаскированных танков, но внезапно «фильм» обрывается.

Все дальнейшие попытки речевого субъекта «заштопать» порванную пленку и запустить «фильм» с начала приводят к возникновению «салата из кадров», сопровождающегося отдельными воспоминаниями тактильного и аудиального характера, эксплицированными глаголами *berühren*, *rufen* и словосочетанием *Rufe zählen*. Отчетливость воспоминаний подчеркивается, как и на протяжении всего ретроспективного повествования, формой настоящего времени соответствующего глагола (*berühre*), что совпадает с актуальным настоящим автора:

Ab dann *reißt* der Film. Sooft ich ihn *flicke und wieder anlaufen lasse*, bietet er *Bildsalat*. Irgendwo kann ich meine vergammelten Fußblappen wegwerfen... Bei einem Halt in einer Flußniederung *berühre* ich blühende Weidenkätzchen.

Rief ein Kuckuck verfrüht? *Zählte* ich seine *Rufe*? [Grass, S. 138].

Неудивительно, что в череде картин, всплывающих в памяти, очередным впечатляющим кадром, связанным с сильным эмоциональным потрясением, становится вид первых в жизни рассказчика увиденных им мертвых — солдат вермахта, повешенных полевым судом гитлеровцев для устрашения вдоль шоссе «за трусость»:

Und dann sehe ich die ersten Toten. Junge und alte Soldaten in Uniformen der Wehrmacht. An noch kahlen Chausseebäumen und Linden auf Marktplätzen hängen sie. <...> Keine Gedanken, nur Bilder bleiben [Grass, S. 138].

На наш взгляд, окказиональная метафора Г. Грасса, эксплицирующая концептуализацию памяти в виде наспех смонтированной и постоянно рвущейся кинопленки, достаточно адекватно передает суть феномена личностной памяти, обладающей непредсказуемым, прихотливым и в высшей степени субъективным характером.

Совершенно очевидно, что обилие переживаемых любимым человеком событий неизбежно приводит к необходимости их селекции и определенного упорядочивания, вследствие чего в нашем сознании может происходить некая гиперболизация и даже гипертрофия одних фактов на фоне искажения, нивелирования и игнорирования других: по меткому выражению М. Хальбвакса, в процессе воспоминания прошлое изменяет свой облик и «портится под действием интеллектуального света» [Хальбвакс 2007: 56]. При ретроспективной деятельности речевого субъекта подобные искажения событий прошлого опыта протекают в форме ошибок в установлении источника извлекаемой из сознания информации, перепутывания фрагментов разнородных воспоминаний как вида контаминации, дотройки и перестройки конкретного воспоминания в результате включения в него новых элементов, или так называемой конфабуляции, и, наконец, в виде полной потери доступа к исходной информации [см.: Нуркова 2008: 89].

Тем не менее, принимая во внимание факт лабильности и известной уязвимости личностной памяти с точки зрения ее соответствия реальному положению вещей, следует признать то обстоятельство, что именно в результате взаимодействия различных форм автобиографической памяти возникает основа для структурирования коллективной памяти человечества как залога преемственности и неразрывной связи опыта прошлых и грядущих поколений.

Таким образом, поскольку все указанные особенности личностной памяти находят полное и адекватное отражение в особой сфере совокупного дискурсивного пространства, а именно в индивидуально обусловленном подтипе ретроспективного дискурса, несомненной представляется актуальность дальнейшего исследования текстов данного типа на материале разных языков. Интерпретация лингвокогнитивного потенциала памяти, направленная на установление, фиксацию и осмысление системных связей, которые структурируют номинативное поле концепта «память», позволяет углубить наши представления о связи психики, языка и внеязыковой действительности, что является приоритетной задачей современной лингвистики.

Список литературы

Анкин Д. В. Теория познания : учеб. пособие. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019.

Аристотель. Метафизика // Аристотель, Метафизика; Политика; Поэтика; Риторика: трактаты. СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. С. 7—26.

Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения / пер. с англ. ; под общ. ред. Ю. М. Забродина, Б. Ф. Ломова. М. : Прогресс, 1980.

Болдырев Н. Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. № 1. С. 18—36.

Большой немецко-русский словарь : в 2 т. / сост. Е. И. Лепинг, Н. П. Страхова, Н. И. Филичева и др. ; под рук. О. И. Москальской. 2-е изд., стер. М. : Русский язык, 1980. Т. 2. L — Z.

Бондарева Л. М. Лингвокогнитивные и текстотипологические параметры ретроспективного дискурса (на материале немецкого языка) : дис. ... д-ра филол. наук. Архангельск, 2019.

Величковский Б. М. Когнитивная наука: Основы психологии познания : в 2 т. Т. 1. М. : Смысл: Изд. центр «Академия», 2006.

Дженова Л. Как работает память: Наука помнить и искусство забывать. М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022.

Дмитриева Н. В., Кушнерова Ю. Ю., Козырева Т. С. Терапия негативных воспоминаний // Научное обозрение. Психологические науки. 2014. № 1. С. 25—34.

Дмитровская М. А. Философия памяти // Логический анализ языка. Культурные концепты. М. : Наука, 1991. С. 78—85.

Знаков В. В. Психология понимания мира человека. М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2016.

Кандель Э. В поисках памяти: Возникновение новой науки о человеческой психике / пер. с англ. П. Петров. М. : Астрель: CORPUS, 2012.

Коломинский Я. Л. Человек: психология. 2-е изд., доп. М. : Просвещение, 1986.

Королева Н. Н. Психосемиотика субъективных реальностей личности : дис. ... д-ра психол. наук. СПб., 2006.

Кравченко А. В. Методологические основания когнитивного анализа значения // Когнитивный анализ слова: монография / отв. науч. ред. Л. М. Ковалева. 2-е изд., испр. М. : URSS, 2014. С. 9—33.

Краткий психологический словарь / сост. Л. А. Карпенко ; под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. М. : Политиздат, 1985.

Кубрякова Е. С. Язык и знание. М. : Языки славянской культуры, 2004.

Лобанов А. П. Когнитивная психология : учеб. пособие. 2-е изд. Минск ; М. : Новое знание ; ИНФРА-М, 2012.

Нуркова В. В. Доверчивая память: Как информация включается в систему автобиографических знаний // Когнитивные исследования : сб. науч. тр. / под ред. В. Д. Соловьева, Т. В. Черниговской. М. : Ин-т психологии РАН, 2008. Вып. 2. С. 87—101.

Прохоров А. О. Образ психического состояния. М. : Ин-т психологии РАН, 2016.

Ребрина Л. Н. Коэдификация категории памяти в немецком языке : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Волгоград, 2012.

Рикёр П. Память, история, забвение. М. : Изд-во гуманитарной лит-ры, 2004.

Рубинштейн С. Л. Память // Психология памяти / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. М. : ЧеРо, 1998. С. 215—233.

Рымкевич О. Е. Textoобразующий статус категории субъективной модальности в немецком языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 1991.

Солсо Р. Модели памяти // Психология памяти / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. М. : ЧеРо, 1998. С. 547—563.

Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / пер. с фр., вступ. ст. С. Н. Зенкина. М. : Новое издание, 2007.

Шадриков В. Д. Ментальное развитие человека. М. : Аспект Пресс, 2007.

Assmann A. Zur Metaphorik der Erinnerung // Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung / hrsg. von A. Assmann, D. Harth. Frankfurt a/M : Fischer Taschenbuch Verlag, 1991. S. 13—33.

Schmidt S. J. Gedächtnis — Erzählen — Identität // Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung / hrsg. von A. Assmann, D. Harth. Frankfurt a/M : Fischer Taschenbuch Verlag, 1991. S. 378—395.

Schwarz M. Kognitive Semantiktheorie und neuropsychologische Realität. Repräsentationale und prozedurale Aspekte der semantischen Kompetenz. Tübingen : De Gruyter, 1992.

Weinrich H. Lethe: Kunst und Kritik des Vergessens. München : C. H. Beck, 2005.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Bräker U. Lebensgeschichte und Abenteuer des armen Mannes im Tockenburg. Rudolstadt : Greifenverlag, 1970.

Fallada H. Damals bei uns daheim (Erlebtes, Erfahrenes und Erfundenes). Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1955.

Fontane Th. Meine Kinderjahre. Autobiographischer Roman. Leipzig : Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 1971.

Grass G. Beim Häuten der Zwiebel. Göttingen : Steidl Verlag, 2006.

Haffner S. Geschichte eines Deutschen. Die Erinnerungen 1914—1933. München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2002.

Hesse H. Das erste Abenteuer // Hesse H. Liebesgeschichte / hrsg. und mit einem Nachwort vers. von V. Michels. Frankfurt a/M : Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1995. S. 101—105.

Hesse H. Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend. Frankfurt a/M : Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1994.

Heine H. Aus den Memoiren des Herren von Schnabelewopski // Heines Werke : in 5 Bdn. Bd. 2. Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1967. S. 281—333.

Hoffmann T. A. Lebensansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern. Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1982.

Jhering H. Begegnungen mit Zeit und Menschen. Berlin : Aufbau-Verlag, 1963.

Jünger E. Afrikanische Spiele. München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1998.

Lewald F. Meine Lebensgeschichte. Bd. 3 : Befreiung und Wanderleben / hrsg. von U. Helmer. Königstein : Helmer, 1998.

Lewald F. Meine Lebensgeschichte. Bd. 1 : Im Vaterhause / hrsg. von U. Helmer. Königstein : Helmer, 1998.

Mann K. Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1979.

Maron M. Animal triste. Frankfurt a/M : Fischer Taschenbuch Verlag, 1997.

Schlink B. Der Vorleser. Zürich : Diogenes Taschenbuch, 1997.

Schnitzler A. Jugend in Wien. Eine Autobiographie. Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1985.

Suttner von B. Lebenserinnerungen. Berlin : Verlag der Nationen, 1970.

Wagner R. Mein Leben. Bd. 1. Bremen : Carl Schünemann Verlag, 1986.

Wieck M. Zeugnis vom Untergang Königsbergs. Ein „Geltungsjude“ berichtet. München : Verlag C. H. Beck, 2005.

2. «Формула Гамана»: к проблеме двух онтологий как коммуникативных событий

«Формула Гамана» в контексте немецкой теолингвистики

Одним из первых, кто предпринял попытку исследовать средствами филологической и, шире, гуманитарной науки проблему взаимосвязи опыта, языка и познания, был Иоганн Георг Гаман (1730—1788). Его до сих пор считают самым загадочным автором Германии: весной 1758 г. он пережил то, что охарактеризовал как «путешествие в ад самопознания»¹ [Hamann, *Sämtliche Werke*, Bd. 2: 40]. Это событие определило характер его творчества, которое можно оценить как попытку сопротивления деаксиологизации немецкого ума и чувства. При этом Гаман выступил не только апологетом христианской веры, но, ориентируясь на современные, хотя и чуждые ему искания немецкого Просвещения, разработал весьма логичную, коммуникативно ориентированную герменевтику, исходным принципом которой является то, что мы именуем «формулой Гамана». Суть ее сводима к тому, о чем Гаман писал в 1772 г. в ответ на трактат Гердера о естественном происхождении языка. Возражая Гердеру и защищая свое убеждение о божественном происхождении языка как главного посредника в коммуникативном онтодиалоге между тварным миром и Творцом через посредство человека, Гаман пишет: «Эта *communicatio* божественной и человеческой *idiomatum* есть основной ключ для всякого нашего познания и всей нашей видимой икономии жизни» [Hamann, *Sämtliche Werke*, Bd. 3: 27].

Формула Гамана касается довольно обширного поля современных исследований в германистике, имеющего отношение к языку религии. Одним из первых попытку актуализировать

¹ Здесь и далее перевод с немецкого языка наш. — В. Г.

значимость этого поля исследования для немецкого языка сделал Х. Мозер [Moser 1964]. Инициатива Х. Мозера была поддержана целым рядом немецких исследователей, среди которых выделим М. Кэмпферга [Kaempfert 1983], Р. Хоберга и У. Гербера [Sprache und Religion 2009]. О нарастании интереса к проблеме религиозного языка свидетельствует двухтомное издание «Theolinguistica» [Theolinguistica 2008]. Во всех этих работах затрагивается обширный круг вопросов специальной области языка под названием «теолингвистика», включая проблемы библейского языка и его перевода М. Лютером, вопросы герменевтики, гомилетики и др. В российской науке проблема религиозного языка также уже находит своих исследователей, среди которых отметим Н. М. Орлову [Орлова 2010] и Н. А. Голубеву [Голубева 2013], рассматривающих прецедентную феноменологию религиозных текстов.

Что касается российской германистики, следует признать фактическое отсутствие здесь серьезных попыток исследования проблемы языка и религии в немецком языке (ср. [Плисов, Зинцова 2013; Плисов 2013]. Примечательно, что в работах немецких исследователей в изучаемом проблемном поле языка религии не упоминается имя Гамана. В названные выше издания по теолингвистике не включены труды небольшого круга немецких гамановедов, внесших большой вклад в изучение теологии языка И. Гамана, например работы Г. Баудлера [Baudler 1970] или Э. Бюксель [Büchsel 1988]. Среди исследований отечественных авторов выделим статью О. А. Радченко и Л. С. Аликаевой [Радченко, Аликаева 2011] и особенно работу А. В. Лызлова, посвященную онтологическому пониманию языка у Гамана [Лызлов 2020]. А. В. Лызлов дает высокую оценку творчеству Гамана, подходя к той герменевтической границе его философии языка, которую мы в нашей работе хотели бы уточнить и актуализировать, учитывая в том числе эсхатологическое напряжение современного исторического процесса.

С точки зрения герменевтики Священного Писания история человечества — это онтологическая драма, обусловленная грехопадением. В символическом дискурсе Книги Бытия грехопадение означает нарушение коммуникативного *со-бытия* между Богом и человеком и переход истории в коммуникативный

онтодиалог с самым хитрым из «зверей полевых» (Быт. 3: 1), который к концу времен обретает силу «древнего змия» (Откр. 12: 9), низверженного с небес на землю после поражения от архангела Михаила и ангелов его (Откр. 12: 7). Именно эта реструктуризация онтологической вертикали и полноты бытия привела к тому, что даже с точки зрения внерелигиозного сознания исторический процесс, несмотря на многочисленные теории прогресса, напоминает дурную бесконечность какого-то трагического недоразумения.

В отличие от теолингвистических изысканий современных германистов, рассматривающих религиозный язык как особую дискурсивную зону в многообразии современных дискурсивных практик, Гаман полагает, что язык религиозен во всех его проявлениях, включая и языковую основу Книги природы и Книги истории. Гаман доводит проблему языковых значений до антиномичной границы религиозного водораздела: каждое слово распознается им как соотносимое либо с Богом, Слово Которого стало плотью во Христе (Ин. 1: 14), либо с дискурсивными практиками, враждебными Логосу Христа. Формула Гамана, не замечаемая в немецкой германистике, может быть понята сегодня не только в свете христианской эсхатологии, но и в контексте некоторых достижений современной филологической науки, прежде всего в одном из ее герменевтических направлений, связанном с христоцентрическим антропокосмизмом (П. Флоренский, С. Булгаков, Н. Бердяев, А. Горский, Т. де Шарден, П. Рикёр и др.).

Согласно Гаману, основой контингентно изменяющихся значений языковых знаков (о проблеме контингентности см.: [Хьюбнер 1994]), создающих коммуникативные скрепы соответствующих дискурсов в определенные периоды развития национально-культурных этносов, является не имманентный принцип, а религиозный опыт. Последний представляет собой чувственно переживаемые энергии «*communicatio* божественной и человеческой *idiomatum*» в дизъюнкции «или — или» — с Богом или с «богом века сего», который «ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого» (2 Кор. 4 : 4). Гаман остро пережил и понял, что европейское Просвещение оказалось в

динамике того антропоморфизма, который свидетельствует о радикальном вторжении в бытийный процесс самого хитрого из «всех зверей полевых» (Быт. 3: 1), стремящегося прежде всего реконструировать онтологические основы языка. По Гаману, не человек и не природа создают язык, но язык создает человека и определяет синхроническое состояние природных и исторических процессов, поэтому «захват языка» дает ключ к захвату человека и превращению человека в орудие войны против Бога.

**«Формула Гамана»
и опасность деаксиологизации языка**

Гаман вошел в историю классической германистики прежде всего благодаря своей работе «*Aesthetica in nuce*» (см.: [Гильманов 2003]), оказавшей чувствительное влияние не только на Гёте, но и на формирование программы литературного движения «Буря и натиск», и на некоторые принципы романтизма. Несмотря на то что «*Aesthetica in nuce*» внесена в реестр классических текстов по германистике, большинство ученых-германистов с недоумением и недоверием относятся к той оценке Гамана, которая принадлежит Гёте. Находясь в Италии, Гёте при встрече с итальянским правоведом Филанджиери, упомянутой не только в «Итальянском путешествии», но и в 6-й главе 1-й книги романа «Годы странствий Вильгельма Мейстера», ознакомился с вышедшим в 1725 г. сочинением «*La scienza poiva*» Джованни Батиста Вико. «При беглом знакомстве с книгой, которую они вручили мне как святыню, — пишет Гёте, — я отметил, что в ней содержатся сивилловы прорицания добра и справедливости, которые когда-нибудь свершатся или должны были свершиться, основанные на преданиях и житейском опыте. Хорошо, если у народа есть такой прародитель и наставник; для немцев подобным законоучителем со временем станет Гаман» [Гёте 1980: 94]. Парадокс в том, что для самого Гёте и его времени Гаман не стал «прародителем и наставником», хотя Гёте не раз вспоминал и писал о нем (см. об этом: [Гильманов, Мальцев 2018]). Не стал Гаман и «законоучителем» для последующих поколений немцев, отказывающихся от попытки проникнуть в сложную стилистику его текстов. В «Поэзии и

правде» Гёте, указывая на трудность прочтения «сивиллиных листов» Гамана, пишет следующее: «Стоит только заглянуть в эти листы, и вокруг нас разольется свет двойной и двусмысленный. Он покажется нам очень приятным — нужно только раз и навсегда поставить крест на том, что принято именовать пониманием» [Гёте 1969: 373]. Гёте, как всегда, точен в постановке диагноза не только в отношении текстов Гамана, но и в отношении главного коммуникативного события мирового процесса: это — проблема коммуникативного онтодиалога между сознанием и бытием, итогом которого является то, «что принято именовать пониманием».

Этим обозначена главная задача, которую уже издавна пытается решить особое направление гуманитарной традиции, именуемое герменевтикой. Гаман ставит нас перед проблемой конфликта герменевтик, четко обозначившимся в последние годы и поместившим человечество на границу эсхатологического вопрошания: не оказался ли мир в «герменевтическом круге» иррационального самоуничтожения по причине того, что поставил крест на понимании той истины, которую Гёте предчувствовал в «сивиллиных листах» Гамана, назвав его будущим «законоучителем» для немцев, но и признавшись при этом, что не может до конца понять эту истину? В свете герменевтики Гамана основы этого порочного «герменевтического круга» получили свою парадигмальную легитимацию в эпоху Просвещения. Гаман, названный выдающимся знатоком его творчества О. Байером «радикальным просветителем» [Baier 1988], вступил в решительную борьбу с главными вождями европейского Просвещения под знаменем той герменевтики, которую он обозначил в названии одного сборника своих полемических работ «Крестовые походы филолога».

В основных тенденциях Просвещения Гаман распознал стремление нового критического разума, отказывающегося от Света истины во Христе, к монополизации смысла метаисторической эволюции Вселенной. Важнейшим инструментом этой монополизации выбирается свет «одного хитрого зверя», стремящегося прежде всего к разрушению исходной богочентрической структуры языка и производству нового языка и сознания в идеале «нового имени» новых строителей Вавилон-

ской башни (ср.: [Hamann, Sämtliche Werke, Bd. 3: 19]). В одной из «Двух рецензий» на трактат Гердера о происхождении языка, опубликованной Гаманом в «Приложении к 37-му выпуску Кёнигсбергской ученой и политической газеты», он негодует: «Чем же являются шедевры нашего гордого разума, кроме как подражанием и развитием слепого инстинкта зверей? Чем же является взятый взаймы огонь всех наших изящных, свободных и облагороженных искусств, кроме как прометеевским хищением первоначального природного света зверя? Не обязаны ли мы тем, что владеем зародышем всего нашего познания добра и зла и даже философским древом “Энциклопедии”, скептицизму одного хитрого зверя?» [Hamann, Sämtliche Werke, Bd. 3: 22].

Этот риторический вопрос Гамана предвосхищает безутешный диагноз многих современных ученых о том, что язык и разум теорий Просвещения инициировали процесс деонтологизации как языка, так и разума, превратив языковые знаки в систему симулякров, а разум — в орудие производства «симулятивной гиперреальности». В свете герменевтики Гамана в этой эксценденции из бытия новый разум, отказавшись от коммуникативного *со-бытия* с Богом, создает не просто симулякры, а новую пневмосферу, энтропийные энергии которой стремятся разрушить христоцентрический структурализм. По утверждению Гамана, «хладнокровные философы» высокомерно отвернулись от «света человек» во Христе (Ин. 1: 5), чтобы стать «как боги» без Бога, что и было обещано самым хитрым из «зверей полевых» (Быт. 3: 1). В своей полемике с теорией естественного происхождения языка Гердера, развивавшего идею о филогенетическом родстве между миром зверей и человеком, Гаман с опорой на библиоцентрические центоны изобличает трактат Гердера, характеризуя его как свидетельство того, что язык Просвещения имеет единое основание, сформированное под влиянием «*thierischen Unterrichtes*» («уроков зверя») [Hamann, Sämtliche Werke, Bd. 3: 22]. Под знаменем «филологии Креста» Гаман объявляет войну этому языку, который, несмотря на многообразие дискурсов, его использующих, един в одном: этот язык отказывается от «*communicatio idiomatum*» в

тринитарной пневматосфере Бог — Сын — Дух Святой, откаяваясь тем самым от главной причины и условия бытия — от любви Христовой.

Нисхождение Духа этой любви в свое сердце Гаман описал в духовном дневнике под названием «Мысли о жизненном пути» такими словами: «Я чувствовал, как бьется мое сердце, я слышал голос Его... как голос крови, как голос убитого брата... Я не мог скрывать от Бога, что я был тот убийца, братоубийца Его кровного Сына. Дух Божий продолжал действовать в моем сердце... несмотря на долгое сопротивление, которое я до этого оказывал Его свидетельству в Его желании открывать мне все больше и больше тайну Божественной любви и благодатной веры нашего Спасителя... Я читал Священное Писание и чувствовал поддержку Того, Кем оно было написано, как единственный путь понять смысл этого Писания» [Hamann, *Sämtliche Werke*, Bd. 2: 40].

В этой исповеди о своем религиозном опыте Гаман отображает тот коммуникативный процесс, ту основу *communicatio idiomatum*, которая станет исходным принципом всей его герменевтики, включая герменевтику природы и истории. Это — герменевтика любви, возможная, однако, только при условии великого смирения и покаяния, доведенного у Гамана до признания участия в коллективной вине человечества, отвергнувшего своего Спасителя. Разрушительной альтернативой этой герменевтике может быть только герменевтика *communicatio idiomatum* между человеком и тем, кто стремится усилить наше «опьянение грехом» и не дать услышать крика нашей души о помощи [Hamann, *Sämtliche Werke*, Bd. 1: 81].

По Гаману, грех не есть эссенциальное свойство человека в отличие от «*desiderium naturalis*», то есть в отличие от естественной устремленности души к ее Творцу-Богу. Поэтому душа, чувствуя, что «цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня» (Пс. 17: 6), способна закричать о помощи: именно с опыта этого крика и началась, согласно исповеди Гамана, его коммуникация с Богом: «Мы слышим в нашем сердце, как кричит кровь Икупителя; мы чувствуем, что глубины его окроплены этой кровью, пролитой за примирение со всем миром» [Hamann, *Sämtliche Werke*, Bd. 1: 78]. И в этом крике, по Гаману, не призыв к мести,

а зов к покаянному примирению с Богом и принятию его благодатного прощения. Этот голос как сокровенная основа бытия может стать нашим голосом, потому что «говорить значит переводить — переводить с языка ангелов на язык людей; это означает перевод мыслей в слова, предметов в имена, образов в знаки» [Hamann, *Sämtliche Werke*, Bd. 2: 195]. А. Лызлов именует этот перевод, в котором «каждая вещь становится “оплотненным” словом Создателя» [Лызлов 2020], онтоотеологическим. В этой онтоотеологии языка, согласно опыту Гамана, человек веры — «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10: 17) — может стать голосом Духа Святого: «Дух Божий облачается в наш собственный голос, чтобы мы с изумлением увидели, как из нашего собственного каменистого сердца бьет родник Его зова» [Hamann, *Sämtliche Werke*, Bd. 1: 81].

Чем глубже Гаман входит в динамику своего «крестового похода» против Просвещения, тем острее он понимает, что в голос его современников облачается не Дух Божий, а дух «бога века сего». Фактически речь идет о превращении семиотики языка, обладающего трансцендирующей силой в коммуникативном онтодиалоге между Богом и человеком, в закрытую для Бога знаковую систему, ставшую инструментом трансформации образа Божьего как эссенциальной основы сущностной структуры человека в «образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр. 13: 14—16). Грех нарушает вербальную структуру онтодиалога между Богом и человеком: трансцендентно-имманентная системность языка, обеспечившая *communicatio idiomatum* между Богом и человеком, лишается своей исходной трансцендирующей вертикали, и язык переходит во власть богоборческой силы.

«Формула Гамана» и телеология природы и истории

В отличие от просвещенческой установки языка и разума Гаман развивает христоцентрическую герменевтику, в основе которой главное событие мировой истории, знаменующее ос-

новную цель *communicatio idiomatum* между Богом и человеком, — пришествие Бога во плоти в явлении Сына. Христос — герменевтический центр динамической структуры значений всех семиотик бытийной горизонтали, от семиотики природы до семантики речевых знаков. В типологической структуре бытия все значения исторически изменчивых знаков определяются, согласно герменевтике Гамана, соотносительно с событием Христа: в Нем — герменевтический ключ к человеку, а через посредство человека — к пониманию природы и истории. Каждое событие — фигура, уравнение, символ, указующий знак, в контингентной структуре значения которого событийно присутствуют прошлое (*архе*) и будущее (*эсхатон*), не лишая, однако, само это событие его синхронической самостоятельности в настоящем. Но эта «настоящность» типологически встроена в контингентную динамику провидения Слова Божия, ставшего не только «буквой» Священного Писания, но и плотью в Сыне Божьем. Христос как Образ Бога Живого есть указующий знак на истинную природу каждого человека, который в своем синхроническом состоянии есть символическая функция контингентной фигуры, отражающей состояние бытийного процесса, объективирующего себя в биологической телесности человека и в семантическом поле его знаковой компетентности. «Жизнь человека кажется состоящей из определенного ряда символических действий, посредством которых наша душа способна открывать свою незримую природу» [Hamann, *Sämtliche Werke*, Bd. 2: 139], и суть этой природы заключена в том, что человек был создан как образ и подобие Бога.

В «*Aesthetica in nuce*» Гаман пишет: «И вот наконец чувственное Откровение Своего величия Бог увенчал шедевром творения — человеком... Он создал его как образ Божий. Это решение Творца разрешает самые запутанные проблемы человеческой природы и человеческого предназначения... Закутанное в плоть тело, открытый лик — все, вплоть до самых кончиков пальцев на руках, представляет собой видимую схему, в контуре которой проходит наша жизнь. Но всё это, в конечном счете, — не что иное, как указующий перст скрытого в нас Человека» [Hamann, *Sämtliche Werke*, Bd. 2: 198]. Именно Он — Богочеловек, явленный во Христе — есть цель и смысл каждого

из нас, но одновременно природы и истории. Гаман достигает той границы коммуникативного онтодиалога между Богом и человеком, которая сближает его с основной идеей святоотеческого христианства: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом» (св. Иринея Лионский), что и знаменует собой воплощение Христа.

Это христоцентрическое учение о цели мироздания предполагает, что воплощение Бога во Христе обусловлено не грехопадением, на чем настаивают кальвинисты, а основной целью Божественного замысла о бытии мира. Сотворение мира и человека — типологическая префигурация благодатного значения миссии Христа, открывающей основной смысл мировой телеологии. Эта христоцентрическая герменевтика Гамана находится в остром противоречии со всеми теориями натурфилософии и естественной теологии, включая ее гностические направления, согласно которым вселенная преформирована естественной телеологией ее эволюции, не нуждающейся в благодатном участии Бога. Подобный подход сказывается и на отношении к языку: в свете герменевтики Гамана слово, лишенное коинонии [Hamann, *Sämtliche Werke*, Bd. 4: 415], общности с Духом Святым, то есть произнесенное вне «*göttlichen Unterricht*» («уроков Бога») [Hamann, *Sämtliche Werke*, Bd. 1: 10], является не просто симулякром, страдающим предикативной недостаточностью и когнитивным искажением: вне христоцентрической типологии это слово, выступая как продукт «уроков зверя», приблизило нас к той границе времени, о которой Гаман с аллюзией на Откровение от Иоанна Богослова пишет в финале своей «*Aesthetica in puse*»: «Убейте Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его» (Откр. 14: 7).

Будучи прихожанином лютеранской церкви, Гаман стремится к выработке герменевтики, которая очень напоминает такие принципы восточно-христианской традиции, как имяславие, синергия, обожение. Об этом пишет и один из западных исследователей Гамана Х. Вельдхуис [Veldhuis 1994], отмечая удивительный факт, что основные мотивы теологии Гамана, отраженные уже в его «Библейских размышлениях», были рождены из личного опыта «встречи с Богом», описанного в его дневнике. Гаман не был знаком с раннехристианской патристикой, как и

с трудами других богословов, включая Лютера. Его знакомство с трудами Августина, Оригена, Климента Александрийского, Дунса Скотта и других началось много позже того, что произошло во время его «путешествия в ад самопознания», открывшего для него герменевтический ключ для познания Священного Писания. Парадоксальная близость Гамана к раннехристианской догматике обусловила его особое место в западной теологии, что подчеркивается также несогласием Гамана с некоторыми положениями догматики Лютера.

Гаман не предстает как архаичный мыслитель, поскольку его идеи неожиданно для многих проявили свою актуальность в творчестве целого ряда серьезных ученых — от философов и филологов, занятых проблемами герменевтики (Дильтей, Хайдеггер, Рикёр и др.), до некоторых теоретиков современного естествознания, среди которых, например, Т. де Шарден с его эволюционной теорией христоцентрической ноосферы. В свете герменевтики Гамана сползание мира в мир знаков-симулякров является серьезной угрозой не только для культуры, но и для вселенной с ее загадочным для многих «антропным принципом». В какой степени возможна сегодня актуализация хотя бы некоторых идей самого загадочного немецкого автора, несмотря на его кажущуюся чуждость современной когнитивной парадигме в языковедении и научной методологии в целом? Идеи Гамана адекватны некоторым альтернативным этой методологии поискам в современной герменевтике, а также в современной фундаментальной теории мироздания, например в теории Мультиверса, основанной на «теории струн». Согласно этой теории, все элементарные частицы — не точки, а туго натянутые «струны», постоянно вибрирующие не в трех, а в десяти пространственных измерениях.

«Формула Гамана» и проблема онтологической определенности

В переписке с влиятельным философом и литератором из Дюссельдорфа Ф. Г. Якоби И. Гаман затрагивает ключевую для его понимания языка проблему онтологической определенности. Якоби познакомился с Гаманом через посредничество Мат-

тиаса Клаудиуса, одного из ближайших друзей Гамана. С 1782 г. вплоть до смерти Гамана в 1788 г. Якоби был одним из постоянных корреспондентов в обширной переписке Гамана. В своем письме от 18 октября 1784 г. Якоби на грани экзистенциального отчаяния пишет о «чудовищной дыре», которая открылась перед ним как «темная пропасть» и перешагнуть через которую у него нет сил по причине когнитивной недостаточности для достижения определенности. Якоби жалуется Гаману, что философствование не ведет к определенности, прежде всего к определенности в отношении познания Бога. Но, подчеркивает Якоби, определенность жизненно необходима, так как «если у человека есть стремление к непосредственному познанию Бога, то в его душе должна быть заключена способность, ориентирующая человека “отсюда” в “туда”, то есть в направлении Бога. “Я верую, Господи! Помоги моему неверию!”». Такими словами из Нового Завета (Мк. 9: 24) Якоби заканчивает свое письмо к Гаману [Hamann, Briefwechsel, Bd. 5: 271].

Письмо Якоби — серьезный симптом герменевтической проказы, поразившей разум, который, по Гаману, попал в динамику губительной очистки его внутренних интенциональных способностей по достижению определенности в коммуникативном онтодиалоге с Богом и бытием. В своей полемической критике «Критики чистого разума» Канта, первым читателем которой был именно Гаман [Гильманов 2013], он указывает на трехшаговую последовательность этой очистки разума, которая неизбежно приведет его к полной эксценденции из бытия и погружению в неопределенность. В своей работе «Метакритика пуризма разума» с центонным включением целого ряда аллюзий на текст «Критики чистого разума» Канта Гаман пишет: «Первая очистка разума философией заключалась прежде всего в попытке, частью незамеченной и непонятой, частью неудавшейся, сделать разум независимым от всякого предания и традиции, а также от веры в них. Вторая оказывается еще трансцендентней и представляется не чем иным, как попыткой утверждения независимости разума от всякого опыта и его повседневной индукции. Поелику после того как разум более 2000 лет неизвестно что искал по ту сторону опыта, он вдруг отчаянно отказывается не только от прогрессивной траектории

пути своих предшественников, но и с не меньшим упрямством обещает своим нетерпеливым современникам, причем в самое ближайшее время, тот всеобщий, безгрешный философский камень мудрости, столь необходимый для теоретического католицизма и деспотизма, коему подчинится религия на основе своей святости и законодательство на основе своего величия, особенно на последнем крене критического века, в коем обоюдный эмпиризм, изувеченный слепотой, изо дня в день изобличает свою собственную немощь, становясь всё более подозрительным и смехотворным. Для третьего, высшего пуризма, достигающего огнивости Эмпирея, остается только еще язык, единственный — первый и последний — органон и критерий разума, у которого нет иного кредита, кроме предания и узуса» [Hamann, *Sämtliche Werke*, Bd. 3: 284].

Неопределенность, на которую жалуется Якоби, возникает по причине очистки разума, завершающейся очисткой его «органона и критерия» — семантической полноты языковых знаков с их регрессивной памятью о «предании и узусе» и с их трансцендентной «прогрессивной траекторией» эсхатологической устремленности в будущее. Гаман предвосхищает то, что на уровне современных достижений гуманитарной науки развивает П. Рикёр, исследуя динамический аспект структуры значения языковых знаков [Рикёр 2008]. Занимаясь изучением синхронического состояния сознания как означающего центра всех значений, действующих в культуре, Рикёр доказывает неизбежную связь сознания с интенциональностью волевых актов (об этом см.: [Вдовина 2008]).

Конституирующая воля предстает как первоначальный акт сознания и человека вообще. У Гамана этот волевой аспект обострен до эсхатологического противостояния тринитарного Бога христианства и «бога века сего», занимающегося деонтологизирующей очисткой разума. В конечном итоге эта очистка, превращая разум в «нарцисс», который «любит свое отражение больше, чем свою жизнь» [Hamann, *Sämtliche Werke*, Bd. 2: 209], лишает природную реальность и человеческий язык их трансцендентно ориентированной герменевтической перспективы и превращает их в «мертвую букву». Тем самым, согласно Гаману, разум рефлектирует не об Откровении (и, таким образом,

не о природе и не о языке), а о самом себе, а точнее — о своей «вырефлектированности» из света Откровения, о своем выходе в тень собственной якобы самодостаточности, в которой он создает альтернативные бытию псевдореальности. Новая «метафизика, — пишет Гаман, — низводит все словесные знаки и речевые образы нашего эмпирического познания к чистым иероглифам и типам идеалистических отношений. Посредством этого ученого *без-образия* она перерабатывает образность языка в бессмысленное и неопределенное “Нечто”» [Hamann, *Sämtliche Werke*, Bd. 3: 285].

К попытке Гамана избавиться от неопределенности в отношении значения языковых знаков приблизился П. Рикёр. Учитывая открытия психоанализа и феноменологии, он связывает конституирование значений и возможность их определенности для сознания с разрешимым, по его убеждению, конфликтом трех герменевтик: а) герменевтики психоанализа, занятой «археологией субъекта»; б) герменевтики феноменологии духа, концентрирующейся на телеологии онтологического процесса; в) герменевтики феноменологии религии, объединяющей *arche* и *telos* как разнонаправленные интерпретации синхронического состояния сознания через эсхатологию священного [Рикёр 2008: 39—66]. В современной культуре Запада немногие решаются на возвращение в коммуникативную векторность священного, что было и для Гамана основной задачей его творчества. Большинство западных ученых склоняются скорее к мнению Хайдеггера, который писал в своей работе «Письмо о гуманизме» следующее: «Возможно, отличительная черта нынешней эпохи мира состоит в закрытости измерения священного. Возможно, тут единственная беда» [Хайдеггер 1993: 213].

Эсхатологию священного с возможностью ее синергийного присутствия в структуре значения языковых знаков Гаман связывает с вербальностью определенности в коммуникативном *со-бытии* сознания и Бога. Об этом он пишет Якоби, ищущему определенности, утверждая, что дар священного — это дар божественной благодати разуму, в априорных структурах которого невозможно достижение определенности в отношении как Бога, так и природы. «Зачем нужна способность в душе, чтобы ориентировать человека “отсюда” в “туда”?», — спрашивает Га-

ман в письме к Якоби от 14 ноября 1784 г. «Изначальное бытие есть истина, доверенное же в нисхождении Духа — благодать» [Hamann, Briefwechsel, Bd. 5: 271].

«Формула Гамана» и понимание

Герменевтические идеи Гамана оказываются актуальными для формирования общих принципов современной герменевтики в целом. В интенсивной переписке Гамана с Якоби именно определенность понимания истины как уверенное знание действительного положения вещей становится доминантной темой, которую все время в своих письмах обостряет Якоби. Якоби взыскует коммуникативное *со*-бытие с Богом, которое бы со всей определенностью в уме и чувстве открыло понимание истины бытия.

В своей христоцентрической герменевтике Гаман исходит из того, что именно в Слове Бог нисходит в бытие, подобно воплощению Сына во плоти. Это нисхождение он именуется «образным вербализмом» веры, поскольку вера не может отказаться от посредничества языка и разума, «органом и критерием» которого и является язык. «Вербализм, или образность! Вот где осуществляется передача и *communicatio idiomatum* духовного и материального, протяженности и сознания, тела и мысли. В основе всех языков — одна общая природа, чей Господь, Основатель и Творец есть Дух, который повсюду и нигде, шум которого слышен, хотя никто не знает *terminum a quo* и *ad quem*, потому как Он свободен от всех материальных отношений и свойств, потому как Он — в образе, в слове, но только глубоко внутри» [Hamann, Briefwechsel, Bd. 8: 175].

Гаман знает, как трудно обрести определенность правильного понимания, для которого необходим максимум духовной рецептивности, достижимый в «таинстве хлеба и вина» [Hamann, *Sämtliche Werke*, Bd. 3: 218], то есть в благодатном причащении Тела и Крови Христовой. В письме Якоби от 22 января 1785 г. он пишет: «Определенность нашего знания не зависит ни от наших сил, ни от нашей организованности, но прежде всего от определенности самого Предмета этой определенности и Его доверительного самораскрытия нам в соответствии с масшта-

бом наших сил» [Hamann, Briefwechsel, Bd. 5: 329]. Под «Предметом определенности» Гаман недвусмысленно имеет в виду герменевтический центр мировой истории — воплощение Слова Божия во Христе, смиренно намекая также, что не считает масштаб своих сил достаточным для окончательной уверенности в своем предстоянии перед «Предметом определенности». В письме от 27 апреля 1787 г. он пишет Якоби: «Я не знаю, что Юм и мы оба понимаем под верой, и чем больше мы будем рассуждать и писать об этом, тем меньше вероятность, что нам удастся захватить эту ртуть... Вера — не чья-либо вещь и не может быть передана из рук в руки, как товар: вера — это Царство Божие и ад в нас» [Hamann, Briefwechsel, Bd. 7: 165].

В одной из своих работ Рикёр пишет: «Понимание — это прежде всего самопонимание перед текстом» [Ricoeur 1974: 28]. Стремясь постулировать новую научную мораль особой этической корректности по отношению к тексту, Рикёр призывает отказаться от навязывания тексту самочинной интерпретации: не субъект восприятия должен конституировать понимание, но лучшая сторона субъекта, его личность, должна конституироваться воздействием текста с его семантическим потенциалом эсхатологии священного. Рикёр утверждает: «Я, читатель, найду меня только тогда, когда потеряю себя» [Ibid.: 33]. В идейной близости к Гаману он утверждает это с аллюзией на слова Христа: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8: 35).

Это соответствует основной сути формулы Гамана о *communicatio idiomatum* через посредство языка как «органа и критерия разума», что при учете эсхатологических акцентов его работ последнего периода жизни ставит нас перед проблемой двух трансцендентно ориентированных структурализмов, сложившихся в истории развития различных языков. С аллюзией на ветхозаветное «Смерть и жизнь — во власти языка» (Прит. 18: 21) их можно определить как «структурализм смерти» и «структурализм жизни», исходя из того, чье Имя является герменевтическим центром этих структурализмов — «Слово Божие» (Откр. 19: 13—14) или же «тайна, Вавилон великий» (Откр. 17: 5). Имя есть пересечение двух миров, являющее

трансцендентное в имманентном. Известный тезис о том, что не мы говорим на языке, а язык говорит нами (М. Хайдеггер), означает в этой связи, что нами говорит один из этих структурализмов: каждое речевое действие — религиозно, то есть пребывает в синергийной связи или с «богом века сего» или с Богом Жизни.

Гаман, ориентируясь в том числе на эсхатологию Священного Писания, не испытывает иллюзий в отношении действительного эффекта своих сочинений, призванных защитить Слово Божие, ясно осознавая, что в Германии «не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2 Фес. 2: 10—12). В этой ситуации, пишет Гаман, христианам не остается ничего другого, «кроме как верить все сердцем, всеми помышлениями: Так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Эта вера — победа, которая одолеет мир» [Hamann, *Sämtliche Werke*, Bd. 3: 313]. Гаман очень мало или даже ничего не знал о России, но, может быть, сегодняшней России, по праву обвинившей Запад в том, что он стал «империей лжи», важно глубже узнать Гамана, чтобы не потерять веру и Имя — Слово Божие, чтобы в «действии тайны беззакония», предчувствованном Гаманом, помогать силой этого Имени «удерживающему теперь» (2 Фес. 2: 7—8). Учитывая то, что в последние десятилетия в Германии наметился интерес к исследованию религиозного языка, выразим в заключение робкую надежду на то, что Гаман все же станет для своей культуры поводом для понимания истины и освобождения от метаисторической лжи. И, может быть, исполнится то, о чем писал Гёте, назвав Гамана «законоучителем» для будущих немцев или хотя бы для тех из них, кто задумается о «книге жизни у Агнца» в руках (Откр. 21: 27).

Список литературы

Вдовина И. С. От переводчика. Диалог, или конфликт интерпретаций // Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М. : Академический проект, 2008. С. 5—37.

Гёте И. В. Собр. соч. : в 10 т. М., 1980. Т. 9.

- Гёте И. В.* Поэзия и правда. М. : Художественная литература, 1969.
- Гильманов В. Х.* Герменевтика «образа» И. Г. Гамана и Просвещение. Калининград : Изд-во КГУ, 2003.
- Гильманов В. Х.* И. Г. Гаман и И. Кант: битва за чистый разум. Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2013.
- Гильманов В. Х., Мальцев Л. А.* Телеология начал в литературной судьбе Восточной Пруссии. Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2018.
- Голубева Н. А.* Прецедентные единицы в религиозном дискурсе // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. 2013. Вып. 23. С. 26—34.
- Лызлов А. В.* Онтогеологическое понимание языка в работах И. Г. Гамана // Вестник РГГУ. Сер. Философия. Социология. Искусствоведение. 2020. № 3. С. 36—47.
- Орлова Н. М.* Библейский текст как прецедентный феномен : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Саратов, 2010.
- Плисов Е. В.* Немецкий религиозный текст в условиях поликонфессиональности. Н. Новгород : РАНХиГС, 2013.
- Плисов Е. В., Зинцова Ю. Н.* Язык и религия в проблемном поле германистики: научные мероприятия и направления поиска // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. 2013. Вып. 23. С. 164—168.
- Радченко О. А., Аликаева Л. С.* Й. Г. Гаман в лингвистическом дискурсе XVIII века // Вопросы языкознания. 2011 № 1. С. 82—101.
- Рикёр П.* Конфликт интерпретаций. М. : Академический проект, 2008.
- Хайдеггер М.* Время и бытие. М. : Республика, 1993.
- Хюбнер К.* Критика научного разума. М. : ИФ РАН, 1994.
- Baudler G.* Im Worte sehen: das Sprachdenken Johann Georg Hamanns. Bonn : Bouvier, 1970.
- Bayer O.* Zeitgenosse im Widerspruch. Johann Georg Hamann als radikaler Aufklärer. München ; Zürich, 1988.
- Büchsel E.* Biblisches Zeugnis und Sprachgestalt bei J. G. Hamann. Untersuchungen zur Struktur von Hamanns Schriften auf dem Hintergrund der Bibel. Gießen ; Basel, 1988.
- Kaempfert M.* Probleme der religiösen Sprache. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983.

Moser H. Sprache und Religion: zur muttersprachlichen Erschließung des religiösen Bereichs. Düsseldorf : Schwann, 1964.

Ricoeur P. Philosophische und theologische Hermeneutik // Metapher. Zur Hermeneutik religiöser Sprache. München : Kaiser, 1974.

Sprache und Religion / hrsg. von U. Gerber, R. Hoberg. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2009.

Theolinguistica : in 2 Bdn. / hrsg. von A. Greule, E. Kucharska-Dreiß. Regensburg : Universitätsverlag, 2008. 1234 S.

Veldhuis H. Ein versiegeltes Buch. Der Naturbegriff in der Theologie J. G. Hamanns (1730—1788). Berlin ; N. Y. : Walter de Gruyter, 1994.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Hamann J. G. Briefwechsel. Bd. 1—3 / W. Ziesemer, A. Henkel. Wiesbaden, 1955—1957 ; Bd. 4—7 / hrsg. von A. Henkel. Wiesbaden, 1959; Frankfurt a/M, 1965—1979.

Hamann J. G. Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe : in 6 Bdn. / hrsg. von J. Nadler. Wien, 1949—1957.

3. Аргументативная роль монолога и диалога в художественном дискурсе романа Т. Манна «Будденброки»

Не вызывает возражений факт, что аргументация как коммуникативная и когнитивная деятельность является неотъемлемой частью существования человека. По словам одного из основоположников исследования аргументации в 1980-е гг. А. Г. Брутяна, «нет сферы межчеловеческого интеллектуального общения, где человек не аргументировал бы. И не было периода в человеческой истории, когда человек не аргументировал бы» [Брутян 2004: 5]. «Человек разумный есть человек аргументирующий, — пишет А. П. Алексеев. — Каждый из нас независимо от того, осознаёт он это или нет, вовлечен в аргументационную деятельность. Мы аргументируем, обсуждая вопросы обыденной жизни, занимаясь научными исследованиями, размышляя о политике, философствуя или решая деловые задачи» [Алексеев 2001: 3].

Аргументацию можно определить как коммуникативную деятельность субъекта в триединстве ее когнитивного, вербального и экстралингвистического аспектов, направленную на то, чтобы оказать убеждающее воздействие на адресата посредством обоснования правильности (истинности) своей позиции, побудив его к изменению системы своих убеждений и ценностей и склонив к принятию точки зрения адресанта. При этом адресант реализует себя как языковая личность, демонстрируя свою логическую, языковую, коммуникативную и лингвистическую компетенцию. Задействованными оказываются его знания, представления, здравый смысл, ценностная система, его эпистемическое и эмоциональное состояние, а также его социальный статус и роли, которые ему приходится «исполнять».

В исследовании аргументативной роли форм монолога и диалога в речевой коммуникации персонажей романа Томаса Манна «Будденброки» мы опираемся на принципы когнитивно-

го подхода к теории аргументации, разработанные В. Н. Брюшинкиным. По его утверждению, «для порождения системы аргументов в рамках когнитивного подхода существенно представление субъекта об организации умственной деятельности адресата. Представление адресата в уме субъекта в рамках когнитивного подхода становится ключевым моментом порождения системы аргументов» [Брюшинкин 2009: 7]. Существенным представляется то, что «аргументация подразумевает исключительно *планирование* процесса убеждения, происходящее в сознании некоторого лица», в то время как «осуществление аргументации — дело риторики, а не аргументорики... Аргументация — это деятельность субъекта убеждения, в которой реальный адресат убеждения заменяется на его “образ” в сознании субъекта» [Там же: 9]. Этим «образом» адресата определяется модель аргументации: целевые установки адресанта, его основные тезисы и аргументы. Важным аспектом аргументации, по В. Н. Брюшинкину, является определенная роль бессознательных структур психики адресата, равно как и субъекта убеждения [Там же: 17—18], без учета которой построение модели аргументации приобрело бы односторонний характер.

Следует подчеркнуть, что роль аргументации в художественном тексте исследовалась недостаточно. Однако нет сомнения в том, что она выполняет в художественной прозе помимо прочего также и эстетическую функцию, что и обусловило наш исследовательский интерес. В дальнейшем мы сосредоточимся на формах монолога и диалога персонажей в аргументативном дискурсе романа «Будденброки», являющегося «жемчужиной» творчества Томаса Манна, величайшим произведением немецкой литературы в жанре романа-саги.

Монолог как форма убеждающей речи в романе «Будденброки»

Аргументативный дискурс в монологической форме письма

В романе «Будденброки» типичной формой аргументативного воздействия субъекта аргументации на адресата является корреспонденция персонажей. О преимуществах письменной

формы в том, что касается ее иллюкутивного воздействия на адресата, свидетельствуют слова отца Антонии Иоганна Будденброка:

Denn obgleich die mündliche Rede lebendiger und unmittelbarer wirken mag, so hat doch das geschriebene Wort den Vorzug, daß es mit Muße gewählt und gesetzt werden konnte, daß es feststeht und in dieser vom Schreibenden wohl erwogenen und berechneten Form und Stellung wieder und wieder gelesen werden und gleichmäßig wirken kann. — ...если устная речь и воздействует на собеседника живее и непосредственнее, то написанное слово имеет другие преимущества: его выбираешь не спеша, не спеша наносишь на бумагу, и вот, запечатленное в той самой форме, в том самом месте, которое выбрал пишущий, оно обретает прочность, может быть не раз перечитано адресатом и потому в состоянии оказывать на последнего длительное и прочное воздействие [Mann 1963: 129—130]¹.

Приводя текст письма Иоганна Будденброка дочери, автор намечает тему трагизма личной жизни Антонии, которая под влиянием родителей, в частности отца, выходит замуж за нелюбимого ею коммерсанта Грюнлиха, а затем за дельца Перманедера. С обоими мужьями она впоследствии расстается, так и не испытав, фактически по вине недальновидного и меркантильного отца, в жизни личного женского счастья.

Письмо отца к дочери следует рассматривать в контексте также приведенных в романе письменных посланий Грюнлиха Тони и самой Тони отцу. Первое из этих писем характеризуется абсолютным доминированием адресанта (Грюнлиха). Адресат выступает исключительно в качестве внимающей инстанции, его мнимое присутствие сигнализируется языковыми средствами с контактной функцией, главными из которых обычно выступают обращения или подобные им конструкции. На вычурное любовное послание Грюнлиха Антония Будденброк реагирует резко отрицательно и просит отца помочь ей урезонить новоявленного жениха, которого она после его письма еще больше возненавидела. Основные целевые установки Тони при ее обращении к отцу: 1) Грюнлих должен оставить

¹ Перевод здесь и далее И. Д. Копцева.

ее со своим назойливым предложением в покое; 2) Тони любит другого человека. Аргументы Тони: 1) она уже призналась в любви к другому человеку; 2) после окончания учебы он будет просить у родителей ее руки; 3) он не богат, но деньги в жизни — не главное.

После этого письма дочери отец, преследуя корыстные цели, решает выдать ее за богатого и успешного, по его мнению, коммерсанта Грюнлиха и тем самым якобы осчастливить ее, поправив материальное положение своей фирмы и семьи. Как следует из начала письма, целевая установка обращения отца к дочери состоит в том, чтобы предупредить ее о возможных отрицательных последствиях необдуманных поступков по отношению к Грюнлиху, просящему ее руки и готовому в случае отказа покончить жизнь самоубийством. Аргументация отца: 1) он потрясен отношением дочери к жениху; 2) любовь Грюнлиха к Тони настолько сильна, что в случае отказа он совершит самоубийство; 3) в связи с серьезностью положения дочери отец считает себя вправе предупредить ее об опасности грехопадения: «Dir die Folgen namhaft zu machen, die ein leichtfertiger Schritt Deinerseits nach sich ziehen kann» — «Чтобы ты осознала последствия, которые может возыметь для тебя необдуманный шаг» [Ibid.].

Вторая целевая установка отца реализуется в призыве к дочери еще раз все основательно взвесить. Аргументация: 1) нельзя принять всерьез симпатию дочери к другому мужчине; 2) будучи христианином, человек должен уважать чувства другого; 3) возможно, дочери придется держать ответ перед Богом за грех; 4) люди, будучи «звеньями единой цепи» («wie Glieder in einer Kette»), рождены не для личного счастья, а для исполнения долга и должны следовать «испытанной и достойной дорогой предшественников» («einer erprobten und ehrwürdigen Überlieferung folgten») [Ibid.].

Третья целевая установка этого письма утверждает, что Тони не должна упорствовать в своих легкомысленных желаниях. Аргумент: жизненный путь дочери предопределен свыше, поскольку Антония является его дочерью и достойным членом семьи Будденброков.

В этом письме к дочери отец фактически подписывает дочери приговор относительно ее женского счастья, запретив ей принимать самостоятельные решения. Аргумент об уже якобы predetermined пути дочери как члена семьи и фирмы Будденброков обладает *предписывающей* модальностью.

При убеждающей речи в форме письма герои романа не имеют непосредственного контакта. Именно этот фактор подчеркивает роль дистанции при коммуникации. Если аргументы отца пронизаны предписывающей, то аргументы дочери обладают лишь *оптативной* модальностью. Отец не желает прислушиваться к пожеланиям дочери, обрекая ее тем самым на жизненные трудности и страдания. Недальновидность и наивность отца Тони Иоганна Будденброка проявилась в его аргументативной речи в письме к дочери со всей определенностью, а его апелляция к божественному предназначению человека и его ответственности за свои поступки перед другими людьми оказалась лишь пустыми словами.

Аргументативный дискурс в форме устного монолога

Что касается этого вида аргументативного воздействия на адресата, то его ярким примером может служить эпизод, в котором консул Иоганн Будденброк пытается убедить свою супругу Бетси в необходимости поговорить с дочерью Антонией, чтобы склонить ее выйти замуж за коммерсанта Грюнлиха. В этом монологе создается личностный речевой портрет адресанта, в то время как адресату (супруге Будденброка) отводится лишь роль внимающей инстанции. Суть описываемой ситуации: консул Будденброк убеждает адресата в своем праве как отца семейства выдать дочь, вопреки ее желанию, замуж за коммерсанта Грюнлиха и просит супругу еще раз убедительно поговорить с дочерью. Целевая установка консула имеет констатирующую формулировку, окрашенную модальностью необходимости:

Unsere Tochter ist heiratsfähig und in der Lage, eine Partie zu machen, die allen Leuten als vorteilhaft und rühmlich in die Augen springt — sie soll sie machen! Warten ist nicht ratsam, nicht ratsam, Betsy! — Наша дочь созрела для замужества и в состоянии сде-

лать партию, которая всем воочию покажет, что она выгодна и почетна. Она должна сделать ее! Промедление нецелесообразно, Бетси, нецелесообразно! [Mann 1963: 99].

Для обоснования своего целевого убеждения и принятого решения консул выдвигает целую систему аргументов, имеющих различное происхождение и различную иллюкутивную силу. Аргументы «за»: 1) Тони не способна, в силу своего юного возраста, самостоятельно найти себе жениха; 2) принцип «стерпится — слюбится»; 3) жених обладает определенными достоинствами; 4) его материальная состоятельность; 5) о женихе хорошо отзываются посторонние; 6) производная от эмпирических аргументов логика «здравого смысла» («...und man kann am Ende nicht fünf Beine auf ein Schaf verlangen, wenn du mir die kaufmännische Phrase zugut halten willst!..» — «...и ведь, в конце концов, нельзя требовать от овцы, чтобы у нее было пять ног, если ты мне позволишь это коммерческое выражение!..») [Ibid.]; 7) риск для Тони не выйти замуж вообще; 8) наибольшей иллюкутивной силой обладают аргумент пошатнувшегося финансового положения семьи и фирмы.

Набор аргументов в пользу целевой установки Иоганна Будденброка и принятого им решения делится на следующие: а) аргументы от всесторонней эмпирической диагностики «он»-адресатов (аргументы 1—5); б) производные от них логические аргументы от деловой практичности и жизненной мудрости (аргументы 6 и 7) и в) аргументы от неблагоприятного финансового положения дел семьи и фирмы «Будденброк» (аргумент 8). При этом наибольшей иллюкутивной силой, как выясняется в ходе действия, обладают аргументы третьей группы, предопределившие судьбу Антонии Будденброк.

С другой стороны, Томас Манн показывает трагизм и противоречивость фигуры отца. В аргументативном монологе консула присутствуют контраргументы, свидетельствующие о том, что принятие решения вопреки желанию дочери дается ему нелегко.

Аргументы «против»: 1) у дочери есть определенное «делikatное основание» не вступать в брак с Грюнлихом; 2) уверенность, что при своей внешности и происхождении Тони всегда

сможет найти себе жениха; 3) жених не первой молодости и далеко не красавец; 3) ему жалко дочь, находящуюся в трудном положении; 4) дела фирмы идут не так уж плохо.

В целом, следует подчеркнуть, что, несмотря на свой возраст и большой опыт в коммерческих делах, Иоганн Будденброк предстает наивным и недостаточно проницательным человеком, ошибающимся в характеристике Грюнлиха.

С точки зрения композиции этот фрагмент текста представляет собой монолог в диалоге. Рассуждение отца направлено на убеждение «ты»-адресата, в роли которого выступает супруга, в необходимости выполнить его просьбу, касающуюся «он»-адресатов — дочери и ее жениха. Первый является объектом, второй — предметом убеждающей речи. Поскольку роль «ты»-адресата сводится лишь к внимающей инстанции, адресанту нет необходимости строить модель адресата, то есть своей супруги, чтобы убедить ее: она и так во всем согласна с мужем. Но зато строится модель «он»-адресатов, то есть Тони и Грюнлиха, хотя те не выступают в данном случае объектом убеждения. Речь консула выстраивается как рассуждение вслух по принципу взвешивания аргументов «за» и «против» его решения. При этом аргументы «за» обладают большей иллюкутивной (убедительной) силой, чем аргументы «против». Аргументы «за» прагматичны, аргументы «против» обладают морально-нравственной коннотацией. Это придает речи отца *оправдательную модальность*, так как он внутренне осознаёт свою неправоту по отношению к дочери. Таким образом, речь отца — это монолог-оправдание своего решения перед лицом супруги выдать дочь замуж за нелюбимого человека и своей просьбы помочь ему в этом.

Аргументативный дискурс в форме внутреннего монолога

Как и в двух случаях, рассмотренных выше, внутренний монолог — это форма речи с абсолютным доминированием адресанта. Адресат либо вообще отсутствует (при письменной форме монолога), либо в основном молчит, хотя и реально присутствует, но лишь как внимающая инстанция. Присутствие

адресата сигнализируется в форме мнимого обращения время от времени адресанта к адресату. Присутствует лишь фатическая, то есть контактная, функция (имеет место фиктивный, виртуальный «как бы» диалог). При *внутренней* (мысленной) монологической форме речи адресат предстает лишь как воображаемая инстанция.

Доминирование адресанта выражается в том, что именно он является источником аргументационных речевых актов. При этом эти последние имеют свою специфику, обусловленную ситуацией, в которой происходит внутренний монолог. Монолог-раздумье Томаса Будденброка, обращенный к только что почившему дяде, Готтольду Будденброку, прожившему жизнь бесцельно, не посвятив ее служению роду и делу Будденброков, демонстрирует однонаправленную специфику аргументации внутреннего монолога. Адресант не может рассчитывать на реальную ответную реакцию со стороны адресата по затрагиваемой им теме, но он в этой реакции и не нуждается, так как дает лишь оценку итога жизни своего ушедшего из жизни родственника и действий уже воображаемого адресата, относящихся к прошлому.

На эмпирическом (событийном) уровне повествования аргументативная речь в этом монологе строится по принципу причинно-следственных связей. В этих условиях тезисы представляют собой следствия определенных эмпирических причин, способных исполнять функцию аргумента. Внутренний монолог Томаса Будденброка имеет форму мнимого диалога адресанта с воображаемым адресатом, присутствие которого сигнализируется языковыми средствами с контактной функцией обращения «ты».

Содержание уже начального, ключевого тезиса монолога является следствием определенных причин. Тезис 1: дяде Готтольду не очень везло в жизни. Аргументы-причины: 1) дядя слишком поздно научился признавать свои ошибки; 2) он слишком поздно научился считаться с обстоятельствами.

Тезис 2: дядя Готтольд ни к чему не стремился. Аргументы-причины: 1) дух дяди Готтольда не был достаточно возвышен; 2) дяде не хватало фантазии и идеализма для того, чтобы

«с восторгом более сладостным, счастливым и упоительным, чем тайная любовь, вынашивать, лелеять, отстаивать какую-нибудь абстрактную величину вроде доброго имени или купеческого герба, бороться за его честь, мощь и блеск» — «mit einem stillen Enthusiasmus, süßer, beglückender, befriedigender als eine heimliche Liebe, irgendein abstraktes Gut, einen alten Namen, ein Firmenschild zu hegen, zu pflegen, zu verteidigen, zu Ehren und Macht und Glanz zu bringen» [Mann 1963: 243—244]; 4) дяде не хватало вдохновения и честолюбия для того, чтобы отстаивать честь и доброе имя семьи.

Тезис 3: дядя думал, что он женится по любви и ему нет дела до меркантильных соображений. Аргумент-причина: меркантильные соображения — это мелочность и мещанство.

Тезис-реакция Томаса на мысль Готхольда:

Oh, auch wir sind gerade gereist und gebildet genug, um recht gut zu erkennen, daß die Grenzen, die unserem Ehrgeize gesteckt sind, von außen und oben gesehen nur eng und kläglich sind. — О, мы тоже весьма бывалые и достаточно образованные люди и понимаем, что границы, поставленные нашему честолюбию, если взглянуть на них свысока и со стороны, — довольно узкие, жалкие границы [Ibid.: 243].

Контраргументы Томаса для опровержения мысли Готхольда: все на земле относительно, и дяде Готхольду нужно было знать, «что и в маленьком городке можно быть большим человеком» — «daß man auch in einer kleinen Stadt ein großer Mann sein kann» [Ibid.].

В данной монологической внутренней речи и аргументации Томаса Будденброка обращает на себя внимание сложная логическая форма построения обосновывающих аргументативных высказываний: тезисные положения выполняют функцию пропозициональных установок, а основное содержание реализуется в диктумах, вводимых обычно подчинительным союзом «что» или бессоюзно и обладающих пропозициональной модальностью.

Форма внутреннего монолога показывает, что построение аргументации в художественном тексте и ее языковое выраже-

ние не являются строго логическими, они имеют свободную структуру. Существенная роль отводится категории модальности, которая сопровождает аргументационную составляющую, внося различные коннотативные оттенки в иллюкутивное содержание аргументов.

Монолог-кредо

Аргументация с доминирующей монологической речью адресанта в тексте романа является формой, позволяющей автору более глубоко и всесторонне раскрыть художественный образ действующего персонажа как личности. Монолог — это форма речи, позволяющая обеспечивать доминирующее положение адресанту. Это относится и к примерам формального диалога, который превращается, по существу, в монолог. Вот почему в романе Томаса Манна «Будденброки» так широко представлена монологическая речь персонажей. Но в этом случае как тезисная, так и аргументативная часть монолога реализуются самим адресантом, в то время как адресату отводится лишь пассивная роль.

Рассмотрим в связи с этим монолог, в котором Томас Будденброк расхваливает свое профессиональное кредо коммерсанта. Однако специфика художественного дискурса состоит в том, что в нем автор сначала переходит с дескриптивного уровня повествования на событийный, с тем чтобы ввести читателя в суть дела:

Thomas Buddenbrook, ganz voll von dem Wunsche, der Firma den Glanz zu wahren und zu mehren, der ihrem alten Namen entsprach, liebte es überhaupt, im täglichen Kampf um den Erfolg seine Person einzusetzen, denn er wußte wohl, daß er seinem sicheren und eleganten Auftreten, seiner gewinnenden Liebenswürdigkeit, seinem gewandten Takt im Gespräche manch gutes Geschäft verdankte. — Томас Будденброк, горя желанием придать новый блеск фирме, соответствующий ее старому доброму имени, и повседневно борясь за эту цель, не любил отходить в тень, ибо прекрасно сознавал, что не одну выгодную сделку заключил он благодаря своим уверенным, светским манерам, своей покоряющей любезности и такту [Mann 1963: 237].

Далее следует монолог главного героя, начинающийся с ключевого тезиса 1, состоящего из двух частей: а) деловой человек не должен быть бюрократом; б) личность в коммерческих делах играет первостепенную роль. Аргумент 1: невозможно добиться солидного успеха в делах, не выходя из конторы. Уже это этот двуединый тезис 1, с которого начинается монолог, показывает, что модальность личной уверенности и убежденности будет определять характер всего аргументативного монолога.

Тезис 2: успех может быть обеспечен только при личном контроле над ходом коммерческих дел. Здесь аргумент 1 дополняется аргументом 2, с помощью которого подчеркивается роль личной мотивации в работе: «Ich habe stets das Bedürfnis, den Gang der Dinge ganz gegenwärtig mit Blick, Mund und Geste zu dirigieren... ihn mit dem unmittelbaren Einfluß meines Willens, meines Talentes, meines Glückes, wie du es nennen willst, zu beherrschen» — «Я всегда испытываю потребность влиять непосредственно на ход событий — взором, словом, жестом, влиять на него напрямую моей волей, моими способностями или, как ты выражаешься, моей удачей» [Ibid.]. Аргумент-дополнение, почерпнутый из личного опыта, выполняет функцию подкрепления основного аргумента, развивает и конкретизирует его.

Затем происходит переход от положительной части монолога к негативной части — к личной отрицательной оценке существующего положения дел, обусловленного «прогрессом» в коммерческой сфере и его последствиями. Тезис 3: личностный фактор, к сожалению, постепенно выходит из моды. Аргумент 3: «Die Zeit schreitet fort, aber sie läßt, wie mich dünkt, das Beste zurück... Der Verkehr erleichtert sich immer mehr, die Kurse sind immer schneller bekannt... Das Risiko verringert sich und mit ihm auch der Profit» — «Время бежит вперед и лучшее, как мне кажется, оно оставляет за собой. Средства общения становятся все совершеннее, курсы валют узнаешь все быстрее, риски уменьшаются, а вместе с ними уменьшается и прибыль» [Ibid.].

Тезис 4: у старшего поколения коммерсантов дело обстояло по-другому. Аргумент 4, который можно охарактеризовать как аргумент от «авторитетного лица»: «Mein Großvater zum Beispiel... er kutschierte vierspännig nach Süddeutschland, der alte Herr mit seinem Puderkopf und seinen Eskarpins, als preußischer Heereslieferant. Und dann scharmierte er umher und ließ seine Künste spielen und machte ein unglaubliches Geld, Kistenmacher!» — «Мой дед, например, был поставщиком прусской армии и отправлялся на четверке лошадей, в напудренном парике и в туфлях на Юг Германии. Он обольщал всех вокруг, пускал в ход все свои таланты и заработал там — ты, Кистенмакер, не поверишь — просто сумасшедшие деньги!» [Ibid.].

Заканчивается монолог пессимистическим выводом о кризисе профессии, однако характеристика главного героя получает продолжение на метауровне, то есть уровне авторской речи: «So klagte er manchmal...» — «Вот так он [Томас] иногда жаловался...» и т. д. [Ibid.]. Этот авторский комментарий свидетельствует о том, что создание автором художественного образа персонажа происходит на уровнях речи персонажей и на уровне метаречи, то есть авторского комментария, и на любом другом уровне аргументация играет важную роль.

Диалог как форма убеждающей речи в романе «Будденброки»

Диалог в ситуации оценки «он»-адресата

Одной из важных особенностей художественной речи является то, что в ней существуют коммуникативные ситуации, в которых, наряду с адресантом и «ты»-адресатом, ведущими диалог и преследующими те или иные прагматические цели, выступает в качестве предмета речи третье лицо (или третьи лица) — «он»-адресат. Именно этот адресат становится в романе Томаса Манна «Будденброки» лицом, к поведению и образу которого оба участника диалога, обладающие одинаковым коммуникативным статусом, внимательно присматриваются, выражая свое отношение к нему и давая оценку.

В качестве примера приведем эпизод, описывающий впечатление семьи Будденброков о визите к ним одного из главных героев романа, коммерсанта Грюнлиха. При этом мнение о госте оказывается противоречивым: родители, консул Будденброк и его супруга Бетси, дают очень высокую оценку Грюнлиху, его галантным манерам и речам, в то время как их дети, дочь Антония и сын Кристиан, выражают прямо противоположное мнение.

Этот диалог между родителями и детьми в тексте романа демонстрирует своеобразие когнитивного подхода к аргументации, с помощью которого можно описать ситуации, когда предметом (объектом) аргументативной оценки говорящего и «ты»-адресата выступают третьи лица. По отношению к «он»-адресатам обе стороны диалога, адресант и «ты»-адресат, строят свои оценочные модели, то есть свои образы «он»-адресата, поставляя каждый свою аргументацию. В этом случае моделирование аргументационного процесса усложняется. Вместо трехчастной модели аргументации, предложенной В. Н. Брюшинкиным, состоящей из модели субъекта убеждения, модели представления об адресате убеждения и модели порождения набора аргументов, в нашем случае число моделей должно быть увеличено: добавляются, помимо моделей субъекта и адресата убеждения, две модели «он»-адресата, поставляемые соответственно обоими участниками убеждающего диалога, и две модели порождения набора аргументов для обоснования истинности обеих моделей «он»-адресата. При этом «он»-адресат полностью исключен из диалога. Его речь может использоваться участниками диалога, каждый из которых попеременно выступает то в роли субъекта убеждения, то в роли адресата убеждения, создавая полифонию оценок и мнений.

Кроме того, следует отметить, что процесс моделирования «он»-адресата адресантом и «ты»-адресатом происходит на событийном (эмпирическом) уровне повествования, то есть на уровне речи действующих лиц. Но истинным субъектом моделирования представлений о том или ином предмете является автор, выступающий как метасубъект. В нашем примере сигналом его присутствия в процессе аргументации служит его ме-

таречь, выполняющая функцию комментария к происходящему на событийном уровне диалогу-спору, а именно: «Es geschah manchmal, daß die Eltern in dieser Weise aus Höflichkeit den Standpunkt wechselten; dann waren sie desto sicherer, einig zu sein» — «Иногда бывало так, что родители из вежливости высказывали разные точки зрения, но в данном случае они были более чем уверены, что их мнения совпадают» [Mann 1963: 86—87].

Единодушное мнение родителей о Грюнлихе выражено в следующих оценочных выражениях: «Ein so wohlzogener und weltläufiger Mann! Du weißt nicht, was du sagst» — «Какой приятный человек! Такой благовоспитанный, светский мужчина... Ты, Антония, не знаешь, что говоришь» (консул); «Tony! Mein Gott! Was für ein Urteil! Ein so christlicher junger Mann!» — «Антония! Боже мой! Что за слова! Такой набожный молодой человек» (жена консула) [Ibid.].

А вот что думают о нем их дети: «Ja, er macht sich allzu wichtig!» — «Да, он слишком важничает» (Антония); «Manchmal tut er, als ob er ganz laut zu sich selbst spräche» — «Порой кажется, что он громко вслух говорит только с самим собой» (Кристиан) [Ibid.].

Положительная оценка Грюнлиха родителями обусловлена тем, что тот демонстрирует в беседе с ними черты, значимые для всякого порядочного взрослого человека: учтивость, набожность и образованность. Здесь представлен тип *аргументации от принятых в обществе ценностей*, которыми руководствуются в своей жизни Буденброки-старшие. Аргументация детей — это *аргументация от результатов наблюдения за поведением и манерами гостя* и распознанного ими скрытого мотива его визита.

В пользу своих оценок обе стороны диалога приводят разные аргументы. Кристиан передразнивает манеру Грюнлиха говорить, буквально передавая его изречения: «Und Klatschrosen putzen ungemein!.. Ich störe — ich muß um Verzeihung bitten!.. Ich habe niemals schöneres Haar gesehen» — «Пасхальные розы украшают чрезвычайно!.. Я мешаю — прошу прощения! Я никогда не видел более красивых волос!» [Ibid.] Он использует паралингвистические средства, копируя манеру речи Грюнлиха,

что вызывает смех даже у отца. Аргументация Кристиана носит, следовательно, *экземплификационный характер*: для обоснования своей неприязни к Грюнлиху он прибегает к повтору тех вычурных фраз, которые использовал Грюнлих, к копированию манеры его речевого поведения (*аргументация от речевого поведения «он»-адресата*).

Аргументы дочери Антонии более весомы. Она пытается раскрыть родителям глаза на Грюнлиха с помощью следующих аргументов: 1) «*Er sagt alles nur, um sich herauszustreichen!*» — «Он [Грюнлих] говорит все это только для того, чтобы выставить себя напоказ»; 2) «*Er sagte dir, Mama, und dir, Papa, nur, was ihr gern hört, um sich bei euch einzuschmeicheln!*» — «Он говорил тебе, мама, и тебе, папа, только то, что вам хотелось услышать, чтобы угодить вам!» [Ibid.].

Отец оправдывает поведение Грюнлиха, приводя свои контраргументы: 1) «*Das ist kein Vorwurf, Tony!*» — «Это не стоит ставить ему в упрек, Антония!»; 2) «*Man befindet sich in fremder Gesellschaft, zeigt sich von seiner besten Seite, setzt seine Worte und sucht zu gefallen — das ist klar*» — «Человек находится в незнакомом обществе, показывает себя с самой лучшей стороны, употребляет свои выражения и хочет понравиться — это же понятно» [Ibid.]. Эту аргументацию можно было бы назвать *аргументацией от принятого в незнакомом обществе этикета поведения*. Однако в этой аргументации есть пресуппозиция, которая во многом объясняет благосклонное отношение к гостю: родители Антонии намерены найти для нее зажиточного жениха, удачно выдать ее замуж и тем самым поправить пошатнувшееся финансовое положение фирмы «Будденброк».

Таким образом, в результате диалога, а вернее, полилога между родителями и детьми возникают два «портрета» (образа) «он»-адресата, то есть коммерсанта Грюнлиха. С одной стороны (в глазах родителей), он галантен, утончен, образован, набожен, а с другой (в глазах детей) — он примитивен, эгоистичен, хвастлив, угодлив, скрытен. Именно этот образ гостя оказывается, как покажет дальнейшее повествование, истинным. Но эти две стороны образа одного и того же персонажа, в свою очередь, проливают свет и на характеры самих участников диалога.

Диалог в ситуации уговаривания

Специфика диалогической аргументации в рамках художественного произведения состоит в том, что она может быть использована как средство наращивания остроты и драматизма повествования, что и происходит в анализируемом романе. Что касается ситуации уговаривания, то она имеет место в начале повествования, как бы намечая дальнейшую перспективу усиления сюжетного драматизма романа. В качестве примера можно привести эпизод, в котором консул Иоганн Будденброк и его супруга Бетси по очереди уговаривают свою дочь Антонию выйти замуж за Грюнлиха.

Как следует из композиции и структуры данного фрагмента, он характеризуется большим удельным весом метатекста, то есть комментирующей речи автора, с помощью которой передаются переживания Антонии в связи с происходящим. Родители, прежде всего отец, приводят аргументы в пользу замужества дочери: 1) кто как не они должны заботиться о счастье своих детей: «Liebe Tony... Du kannst sicher sein, nicht wahr, daß deine Eltern nur dein Bestes im Auge haben...» — «Дорогая Тони... Ты можешь быть спокойна, что твои родители желают тебе только добра...» [Mann 1963: 93]; 2) «So jungen Dinge, wie du, ist es niemals klar, was es eigentlich will... Im Kopfe sieht es so wirt aus wie im Herzen» — «Такой молоденькой, как ты, никогда не может быть ясно, чего ты, собственно, хочешь. В голове, как и в сердце, еще все так смутно» [Ibid.]; 3) со временем Тони сама убедится в верности решения связать свою судьбу с Грюнлихом; 4) отец не хочет ни к чему принуждать свою дочь, он призывает ее к рассудительности («...muß mit Ruhe erwogen werden, denn es ist eine ernste Sache» — «...необходимо спокойно обдумать, ибо это вещь серьезная...» [Ibid.]). В целом эту аргументацию можно охарактеризовать как *аргументацию от долга* родителей заботиться о счастье своих детей.

На слова родителей дочь выдвигает следующие контраргументы: 1) она почти ничего не знает о своем будущем женихе; 2) она не понимает тех причин, которые понудили Грюнлиха обратить на нее внимание («Ich verstehe es nicht... Er kommt hierher... sagt allen etwas Angenehmes... reist wieder ab... und

schreibt, daß er mich... ich verstehe es nicht... was habe ich ihm getan?!» — «Он приходит сюда... говорит всем приятные вещи... опять уезжает... и пишет, что он меня... я этого не понимаю... что я ему сделала?» [Ibid.]. Это *аргументация от чувства недоумения* дочери и ее несогласия с позицией родителей.

Мать Тони полностью поддерживает позицию отца, выдвигая следующие дополнительные аргументы: 1) возможность стать счастливой случается не каждый день; 2) брак с таким человеком, как Грюнлих, — это большая удача, которая позволяет жить в свое удовольствие («Du kämest nach Hamburg in ausgezeichnete Verhältnisse und würdest auf großem Fuße leben» — «В Гамбурге ты попадешь в отличные условия и будешь жить на широкую ногу» [Ibid.]); 3) дочери следует рассматривать свое замужество как долг и предназначение; 4) дочь и сама понимает необходимость выйти замуж за Грюнлиха.

Отвечая матери, Тони приводит еще целую серию контраргументов, что на время отодвигает реализацию родительского плана. Таким образом, аргументация родителей терпит неудачу. При этом позиция Тони отличается внутренней противоречивостью. Если в диалоге с родителями она демонстрирует однозначность мнения, то из ее внутренней речи, а также из метатекстуального комментария автора становится понятно, что убеждающая речь родителей оказывает на нее определенное влияние, что выражается в следующих аргументах, приводимых в ее внутреннем монологе: 1) она сознает свой долг перед фирмой; 2) замужество с Грюнлихом — действительно большая удача: «Ob sie als Madame Grünlich morgens Schokolade trinken würde?» — «Неужели она как госпожа Грюнлих будет по утрам пить шоколад?» [Ibid.].

Внутренняя речь Тони свидетельствует о том, что, хотя аргументация родителей не имела сиюминутного успеха, она в конце концов достигла своей цели.

Аргументация в ситуации спора

Характеры персонажей при аргументации в ситуации спора раскрываются с наибольшей яркостью в тех ситуациях, в которых происходит столкновение их взглядов на те или иные жиз-

ненные проблемы, предметы, отношения между людьми, поступки и в которых им приходится аргументировать свою точку зрения на самые разные вопросы. Это придает художественному повествованию особую остроту и драматизм. И чем ближе родственные или другие отношения между персонажами, тем острее коллизия повествования.

В романе «Будденброки» описывается сцена спора Антонии со своим мужем Грюнлихом по поводу необходимости принять на работу бонну-воспитательницу для их трехлетней дочери Эрики. При этом муж, «успешно» промотавший приданое Антонии, всячески скрывает истинное финансовое положение семьи. В своей аргументации он постоянно пытается уклониться от требований жены, в то время как Антония, зная о своем приданом, недоумевает, почему исполнение ее требований становится невозможным.

Мотивируя необходимость няни для маленькой Эрики, мать приводит, как ей представляется, достаточно убедительные аргументы: 1) бюджет семьи вполне достаточен для того, чтобы нанять еще одну няню для маленькой дочери; 2) у мужа не должно никаких оснований, чтобы воспрепятствовать этому: «Hast du Gegengründe? Gib doch Gegengründe an!» — «У тебя что, есть контрдоводы? Назови же их!» [Mann 1963:176]. 3) *аргумент от положения дел*: «Ich kann mich nicht immer um das Kind bekümmern» — «Я не могу все время находиться с ребенком...» [Ibid.].

Целевой установкой Грюнлиха является попытка отговорить жену от ее плана. На аргумент жены он отвечает надуманным контраргументом с модальностью упрека: «Ты не любишь детей...» Этот упрек оказывает свое воздействие на жену, что свидетельствует о ловкости и изворотливости Грюнлиха, умеющего манипулировать неопытной Антонией, которая реагирует весьма эмоционально, но вместе с тем аргументированно: «...Es fehlt mir an Zeit! Der Haushalt nimmt mich in Anspruch! Ich wache mit zwanzig Gedanken auf, die tagsüber auszuführen sind, und gehe mit vierzig zu Bett, die noch nicht ausgeführt sind...» — «...У меня нет времени! Я все время занята по хозяйству! Я просыпаюсь с двадцатью планами, которые надлежит выполнить в течение дня, и ложусь с сорока другими, которые еще не сдела-

ны...» [Ibid.]. Далее Грюнлих и Антония обмениваются аргументом и контраргументом относительно роли двух служанок в ведении домашнего хозяйства и воспитании детей, после чего Грюнлих прибегает к *аргументу от материального положения* семьи, утверждая, что оно не позволяет нанять няню, на что Антония отвечает целым рядом контраргументов: 1) их семейство не является нищим; 2) они не должны отказывать себе в необходимом; 3) брак Антонии с Грюнлихом принес в их семью 80 000 марок.

Здесь обращает на себя внимание языковая форма первых двух аргументов, которые имеют форму риторических вопросов, что обусловлено эмоциональной реакцией Тони на аргументы мужа. Но особенное негодование вызывает у нее ответная пренебрежительная реакция мужа: «Ах, да что мне твои восемьдесят тысяч!», провоцирующая страстный обвинительный монолог Тони в адрес мужа, содержание которого представляет собой в основном аргументацию в пользу обоснования заключительного обвинения в его адрес: «Du bist sauertöpfig!» — «Ты просто невыносим!» [Ibid.].

Заслуживает внимания и такое явление, как мнимое оправдание адресантом позиции адресата. Это нечто вроде иронической уступки оппоненту: «Gewiß!.. Du sprichst geringschätzig davon... Es kam dir nicht darauf an... Du hast mich aus Liebe geheiratet... Gut» — «Ну, конечно!.. Теперь ты говоришь о них с пренебрежением... Для тебя они были не главным. Ты ведь женился на мне по любви... Хорошо...» [Ibid.]. Этот пример показывает, что в художественном тексте аргументация может не только нести логическое содержание, но и выполнять коннотативную функцию. Более того, в пылу спора высказывания адресата могут быть использованы адресантом для обоснования своего эмоционального состояния.

В риторическом вопросе «Но любишь ли ты меня вообще?» содержится пресуппозиция «Я сомневаюсь в том, что ты меня любишь». Набор аргументов Антонии для выражения сомнения выглядит следующим образом: 1) твое молчание бестактно; 2) я имею право напомнить тебе о том, что раньше ты вел себя иначе; 3) с первого дня ты навещал меня только по вечерам;

4) ты навещал меня только для чтения газеты; 5) сначала ты обращал внимание на мои пожелания; 6) но с этим уже покончено; 7) вывод: ты пренебрегаешь мною.

Вместо живой убеждающей речи мы приводим лишь аргументативный «скелет» в виде набора пропозиций. Из аргументативного речевого акта ушел целый ряд слов и выражений, придающих ему живой, естественный характер: «...настолько... что...», «имею полное право», «совсем по-другому», «по крайней мере», «поначалу», «давно покончено».

Целевая установка Антонии на отстаивание своих законных прав требует от мужа уважения к ее статусу определяет характер ее аргументации: она категорична, непреклонна и эмоциональна. Целевая же установка мужа, скрывающего истинное финансовое положение семьи, направлена на то, чтобы уклониться от исполнения требования супруги. Для этого он виляет, прибегая к надуманным упрекам в адрес жены, что вызывает у нее вполне обоснованные подозрения относительно истинного положения дел. Все это накладывает свой отпечаток на аргументационное поведение обоих супругов и на характер их диалога, перетекающего в спор.

*Аргументация в ситуации принятия решения
равноправными участниками диалога*

В романе «Будденброки» имеют место ситуации, когда оба участника аргументативного диалога обладают равным коммуникативным статусом. Это, например, эпизод, когда Томас Будденброк и его сестра Антония выражают свое отношение к грядущему столетнему юбилею фирмы «Будденброк» и к предстоящему празднованию этой даты. Томас Будденброк не особенно склонен к торжествам, так как дела фирмы идут неважно. Антония же, напротив, настаивает на необходимости празднования этого юбилея.

Позиция Томаса представлена тремя тезисными формулировками: 1) «Ach, meine Liebe, ich wollte, wir könnten das ganz einfach ignorieren!» — «Ах, моя дорогая, я хотел бы, чтобы мы это просто проигнорировали!»; 2) «...mir lieber wäre, wir könnten den Tag mit Stillschweigen begehen» — «...для меня было бы

лучше, если бы мы обошли этот день молчанием»; 3) «...ich bin wenig aufgelegt, Feste zu feiern» — «...я не расположен отмечать праздники». Позиция сестры также выражена тремя тезисами: 1) «Ignorieren, Tom? Unmöglich! Undenkbar!» — «Проигнорировать? Том, это невозможно! Немыслимо!»; 2) «Du mußt so nicht reden, Tom»; «Ты не должен так говорить, Том»; 3) «Aber wenn der Tag da ist, dann wirst du so freudig bewegt sein, wie wir alle...» — «Но когда наступит этот день, Том, ты также с радостью встретишь его, как и мы все...» [Mann 1963: 424].

Томас аргументирует свою позицию следующим образом: 1) «Die Vergangenheit zu feiern, ist hübsch, wenn man, was Gegenwart und Zukunft betrifft, guter Dinge ist» — «Приятно праздновать прошлое, когда все, что касается настоящего и будущего, обеспечено»; 2) «Sich seiner Väter zu erinnern ist angenehm, wenn man sich einig mit ihnen weiß und sich bewußt ist, immer in ihrem Sinne gehandelt zu haben» — «Вспоминать своих прародителей приятно, когда осознаешь свое единство с ними и когда знаешь, что всегда действовал в их духе»; 3) «Käme das Jubiläum zu gelegenerer Zeit» — «Если бы юбилей выпал на более подходящее время!» [Ibid.].

В свою очередь, Антония подкрепляет выдвинутые ей тезисы рядом аргументов: 1) «Meinst du, du könntest diese Tatsache unterschlagen?» — «Ты полагаешь, что можешь скрыть этот факт?»; 2) «Meinst du, die ganze Stadt könnte die Bedeutung dieses Tages vergessen?» — «Ты полагаешь, что весь город сможет забыть эту важную дату?»; 3) «Du meinst es auch nicht so und weißt wohl, daß es eine Schande, eine Schande wäre, das hundertjährige Jubiläum der Firma Johann Buddenbrook sang- und klanglos vorübergehen zu lassen!» — «И ты хорошо знаешь, что было бы позором, да, позором не отметить столетний юбилей фирмы “Иоганн Будденброк”!» [Ibid.].

Как следует из основных тезисов и аргументов к ним, Томас обращается к соображениям внутреннего, субъективного порядка, но они продиктованы объективно плохим положением дел фирмы накануне юбилея. Позиция Антонии, напротив, оптимистична. Ее аргументация учитывает, с одной стороны, внешние для фирмы обстоятельства (все в городе знают о при-

ближающемся юбилее фирмы), а с другой — и этот аргумент наиболее важен — морально-нравственное значение традиции, о которой прекрасно знает и ее брат.

Следовательно, аргументацию Томаса Будденброка можно охарактеризовать как *аргументацию от реального положения дел*, а аргументацию Антонии — как аргументацию *от общественного мнения, традиции и морально-нравственного долга*. Такой вывод можно сделать, если учесть иллюкутивную и аргументационную силу каждого из представленных обеими сторонами тезисов и аргументов к ним. Аргументативная стратегия обоих участников диалога подчеркивает различие и в их характере. Томас предстает как человек, не ждущий от жизни и от своей деятельности в качестве управляющего фирмой ничего хорошего. Он устал от сплошных неудач и неприятностей в том, что касается коммерческой стороны деятельности своей фирмы. Антония, напротив, идеалистично смотрит на жизнь и дела фирмы, верит в ее успех и процветание и старается убедить в этом своего брата.

Аргументация в ситуации коммуникативного провала

Специфика аргументации в рамках художественного текста состоит в том, что она может быть использована как средство наращивания драматической напряженности повествования. Ярким примером последнего является десятая глава романа, в которой Томас Будденброк пытается убедить свою сестру Антонию в том, что она слишком болезненно воспринимает желание ее мужа, Перманедера, изменить ей с горничной. В композиционном аспекте диалог между братом и сестрой строится по классическому принципу триединства: «завязка — кульминация — развязка». Это диалог, в котором доминирующая роль постепенно переходит от адресанта к адресату.

Основная пресуппозиция, которая обеспечивает контактную (фатическую) функцию, поддерживающую диалог, и служит одной из важных опор в процессе аргументации, — близкое родство между коммуникантами. Это находит отражение в их обращениях друг к другу (в том числе и шутливых): *Gnädige Frau* (*милостивая государыня*), *mein guter Junge* (*мой хороший*

мальчик), *meine gute Tomy* (*моя добрая Тони*), *mein Kind* (*дитя мое*), которыми «приправляются» не слишком лестные высказывания в адрес партнера по диалогу.

Диалог между братом и сестрой и, соответственно, приведение обоюдных аргументов происходит при обсуждении двух тем: 1) супружеской неверности Перманедера; 2) возвращения Антонии после размолвки с мужем в родительский дом в Любеке и ее намерения развестись с Перманедером. В соответствии с этим аргументация делится: 1) на *аргументацию-оценку* поведения мужа Антонии; 2) *аргументацию-убеждение* (со стороны брата) и 3) *аргументацию-оправдание* (со стороны сестры).

Поступок Перманедера и поступок Антонии соотносятся как причина и следствие, причем если для Антонии связь между причиной и следствием является прямой, необходимой и очевидной, то для Томаса она не столь очевидна и даже слишком слаба, чтобы можно было сделать вывод о необходимости развода. Томас, боясь скандала, убеждает сестру вернуться к мужу, но наталкивается на непреклонность Антонии, которая в глубине души уже приняла для себя окончательное решение.

Аргументация Антонии: 1) «...es gibt eine Grenze im Leben, Tom — und ich kenne das Leben, so gut wie du — wo die Angst vor dem Skandale anfängt, Feigheit zu heißen, ja!» — «...в жизни существует определенная граница, Том, — а я знаю жизнь не хуже, чем ты, — за которой боязнь скандала начинает называться трусостью!» [Mann 1963: 342]; 2) «Ja, das bin ich und verstehe es gut, wenn Permaneder mich nie geliebt hat, denn ich bin alt und ein häßliches Weib, das mag sein, und Babett ist sicherlich hübscher» — «Да, я понимаю, что Перманедер никогда не любил меня, ибо я стара и некрасива, а Бабетта [горничная], конечно, красивее меня...»; 3) «Aber das enthob ihn nicht der Rücksicht, die er meiner Herkunft und meiner Erziehung und meinem Empfinden schuldete!» — «Но это не освобождает его от того уважения, которое он должен был оказать моему происхождению, и моему воспитанию, и моим чувствам!»; 4) «Du hast nicht gesehen, Tom, in welcher Weise er diese Rücksicht vergaß...» — «Ты, Том, не видел, до какой степени он забыл об этом уважении...»; 5) «Und du hast das Wort nicht gehört, das er mir, mir, deiner Schwester,

nachgerufen hat... ein Wort... ein Wort ...!» — «И ты не слышал того выражения, которое он бросил мне, твоей сестре, вслед... это слово... это слово...!»

В доводах Антонии представлены следующие виды аргументации: а) *аргументация от жизненных установок и ценностей*; б) *аргументация от личного свидетельства*; в) *аргументация от чувства собственного достоинства*.

Аргументы Томаса: 1) к случившемуся с сестрой следует отнести «с определенной долей юмора, и в этом виноват, конечно, твой расстроенный желудок...»; 2) у Перманедера есть смягчающие обстоятельства; 3) Тони драматизирует ситуацию, и ее необходимо переубедить, для чего используется апелляция к рациональности адресата.

Эту аргументацию Томаса можно было бы назвать *аргументацией от рационального начала* и признания естественных человеческих слабостей, а также *от общественного мнения*.

В аргументации Антонии наблюдается противоречие. С одной стороны, она отдает себе отчет в том, что она всего лишь слабая, некрасивая женщина, то есть в определенной степени ее мужа и его поступок можно понять, а с другой — апеллирует к своему «патрицианскому» происхождению и воспитанию. Противоречие это возрастает, когда в процессе диалога-спора обнаруживается, что истинной причиной возвращения Антонии в родительский дом является ее тоска по «аристократическим» условиям жизни, по тому почету и уважению, которыми она была окружена в родительском доме.

Обнаружив истинную причину поступка Антонии, Томас производит корректировку диагностики когнитивного состояния сестры:

Tony, — sagte er, — du machst mir nichts weis. Ich habe es schon vorher gewußt, aber in deinen letzten Worten hast du dich verraten. Es ist gar nicht der Mann. Es ist die Stadt. Es ist gar nicht diese Albernheit auf der Himmelsleiter. Es ist das Ganze überhaupt. Du hast dich nicht akklimatisieren können. Sei aufrichtig. — Тони, — сказал он, — в твоих словах для меня нет ничего нового. Я это знал и раньше,

но в твоих последних словах ты выдала сама себя. Дело вовсе не в муже. Дело в городе... Ты не смогла акклиматизироваться. Будь честной [Ibid.].

Далее диалог переходит в свою кульминационную фазу. Инициатива оказывается в руках Тони, речь которой автор как метасубъект описывает следующим образом: «Es war eine Explosion, ein Ausbruch voll verzweifelter Ehrlichkeit... Hier entlud sich etwas, gegen das es keine Widerrede gab, etwas Elementares, worüber nicht mehr zu streiten war» — «Это был взрыв, крик души, полный искренности и отчаяния... В нем изверглось то, против чего нельзя было ничего возразить, нечто стихийное, с чем невозможно было больше спорить» [Ibid.: 343]. После ее гневного монолога Томас терпит полное фиаско в своем стремлении переубедить сестру, добиться перемены принятого ей решения. Налицо явная коммуникативная неудача, когнитивный «провал» со стороны Томаса, как в том, что касается оценки поведения ее мужа, так и в том, что касается подлинной мотивации поступков сестры. Это было обусловлено ложной диагностикой психологического и когнитивного состояния сестры. Развязка этого диалога состоит в том, что женская логика чувств одерживает верх над мужской логикой рассудка.

Аргументация, приводимая участниками спора, позволяет выявить такие черты характера Антонии, как эмоциональность, переходящая порой в экзальтированность, амбициозность и искренность, но порой и лукавство, чувство такта, склонность к преувеличениям, любовь к отчужденности и своему краю, неприятие мира коммерции и чистогана. Томас же проявляет деловитость, юмор, иронию, преобладание рационального начала, рассудительность, стремление к справедливости и объективности суждения и в то же время осторожность, дипломатичность.

* * *

Когнитивный подход позволяет по-новому подойти к самому понятию аргументации и определить ее как умственные действия субъекта убеждения, основанные на его представлении об адресате, направленные на выработку набора аргументов и на изменение с их помощью системы убеждений последнего.

Аргументативная форма речи в художественном тексте, как это показало наше исследование на материале романа Томаса Манна «Будденброки», существенно отличается по своей функции, структуре и языковым средствам ее выражения от логической аргументации в ее обыденном смысле. Уже само двухуровневое построение художественного текста существенно отличает его от других типов текста, так как аргументация происходит как на событийном уровне художественного повествования в речи литературных персонажей и их поступках, так и на уровне описания происходящего автором художественного произведения, выражающим свое отношение к событиям и персонажам. Особенно это касается паралингвистических средств, используемых участниками аргументационных речевых актов и автором художественного произведения для характеристики персонажей и наращивания остроты и драматизма повествования.

Специфика художественного произведения состоит в том, что характеры персонажей в нем раскрываются с наибольшей яркостью в таких ситуациях, в которых происходит столкновение их взглядов на те или иные жизненные проблемы, предметы, отношения между людьми, поступки, в которых им приходится аргументировать, отстаивая свои интересы, позиции, взгляды. Это придает художественному повествованию особую остроту и драматизм. Причем чем ближе родственные или другие отношения между персонажами, тем острее коллизия повествования.

Языковое построение аргументативных компонентов художественного текста имеет более свободную структуру, чем в нехудожественных типах текста: наблюдается иерархия аргументов, их развитие с помощью более частных, конкретизирующих и дополняющих ключевые тезисы доводов. Большое значение для структурирования диалогической убеждающей речи в художественном дискурсе имеет категория модальности, которая сопровождает аргументационную составляющую, внося различные коннотативные оттенки в иллокутивное содержание аргументов. При этом имеет место субъективная модальность пропозициональных установок в тезисной части аргументации типа *«я хотел бы, чтобы...»*; *«для меня было бы лучше, если бы...»*. В них отчетливо выражена оптативная (желательная)

модальность, что ослабляет позицию аргументирующего персонажа. Вопрос может выполнять аргументативную функцию, как это можно наблюдать в тексте в риторических вопросах с вопросительным словом «почему», имплицитно содержащих запрос на обоснование поведения персонажа.

В художественном произведении набор аргументов носит иерархический характер в зависимости от степени их аргументативной силы: функция обоснования имеет более высокий аргументативный ранг, чем аргументы с функцией дополнительной информации. Так что в обиходной художественной речи следует различать аргументы с главной (основной) и с побочной или даже вспомогательной функцией, какими являются, например, риторические вопросы, вопросы-переспросы, дающие возможность адресату выиграть время для обдумывания своих контраргументов.

Аргументация с доминирующей монологической речью адресанта является формой, позволяющей автору более глубоко и всесторонне раскрыть художественный образ действующего персонажа. Монолог — это форма речи, обеспечивающая адресанту доминирующее положение. Форма монолога дает говорящему возможность оформлять свою аргументацию в личностном ключе, и эта модальность персональной уверенности и убежденности определяет характер всего текста и, в частности, модальность аргументации, так как оформление высказывания от первого лица свидетельствует о личной заинтересованности говорящего в том, в чем он хочет убедить адресата. Однако основной движущей силой фабулы художественного повествования является диалог. В художественном тексте аргументация в диалогической речи нередко носит комплексный характер. Это определяется тем, какие цели преследуют участники убеждающего общения. Например, в рассмотренном нами диалоге-споре между братом и сестрой Будденброками обнаруживается триединство аргументации-оценки, аргументации-убеждения и аргументации-оправдания.

В нашем исследовании мы затронули лишь часть представленных в данном романе Томаса Манна ситуаций и проблем, связанных с аргументативной и эстетической функцией язы-

ка в художественном тексте. На долю других исследователей остается еще много интересного, заслуживающего самого пристального внимания.

Список литературы

Алексеев А. П. Философский текст: идеи, аргументация, образы. М. : Прогресс — Традиция, 2006.

Брутян Г. А. Аргументация. Ереван : Изд-во АН АрмССР, 2004.

Брюшинкин В. Н. Когнитивный подход к аргументации // Рацио.ру. 2009. № 2. С. 2— 22.

Список источников

Mann Th. Buddenbrooks. Verfall einer Familie. Aufl. 3 Moskau : Verlag für fremdsprachige Literatur, 1963.

4. Рефлективы в современном литературном дискурсе: опыты анализа и интерпретации

Проблемные вопросы теории и практики языковой рефлексии

«В принципе рефлектирующее слово» [Винокур 1959: 248] — так Г. О. Винокур охарактеризовал слово поэтическое. Исходя из современных представлений о субъектно-объектных отношениях в художественном тексте, продолжим мысль классика: в широком смысле поэтическое слово — в принципе рефлектирующее и рефлектируемое слово. Практика имплицитной¹ и эксплицитной творческой деятельности реального (биографического, внетекстового) автора и реального (внетекстового) читателя неотторжима от проблематики языковой рефлексии как «особого типа отношения к языку, предполагающего осмысленное пользование им, языковые наблюдения, соотношение своих оценок с другими, нормой, узусом» [Шмелева 2003: 810]. Основным понятием общей металингвистики / рефлексологии (в том числе и лингвопоэтической рефлексологии как области исследования языковой рефлексии в художественном тексте) выступает рефлексив — «относительно законченное метаязыковое высказывание, содержащее комментарий к употребляемому слову или выражению» [Вепова 2014: 6].

Структура рефлексива

В структуре полноформленного рефлексива выделяются следующие компоненты: объект языковой рефлексии (от бук-

¹ Исследователи «разграничивают имплицитно протекающий процесс размышлений над языком / речью, который всегда сопровождает порождение текста, и эксплицитную, то есть вербализованную рефлексивию» [Шумарина 2011: 8].

вы, звука до предложения, субтекста), субъект рефлексии¹, статусный квалификатор (например, слово, выражение, фраза), метаязыковой комментарий («тело» рефлексива). Набор компонентов в составе рефлексива может быть максимально полным или в той или иной степени сокращенным. Проиллюстрируем сказанное примером из романа Евгения Водолазкина «Чагин»:

Какова же была моя радость, когда вслед за моим ответом лицо собеседника — не могу найти другого слова — *озарилось* улыбкой.

В примере представлен практически полный комплект составляющих рефлексива, а именно: объект языковой рефлексии — глагол *озарилось*; текстовый субъект рефлексии — персонаж, повествующий о годах дружбы с главным героем романа; статусный квалификатор — *слово*; метаязыковой комментарий — *не могу найти другого слова*.

Ингерентно оценочный эмотив *радость* не является компонентом рефлексива, но входит в «группу поддержки» метаязыкового комментария — в рефлексивный фрагмент произведения.

Более пристального рассмотрения заслуживает вопрос об объекте рефлексива, так как объектом метаязыкового комментария может быть либо само слово, либо его денотат, но доказательно развести отношение реципиента к реалии внеязыковой действительности и к ее номинации бывает сложно, а то и невозможно.

В книге Павла Басинского «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой» объектом языковой рефлексии яв-

¹ Текстовым («внутритекстовым») субъектом языковой рефлексии в художественном тексте в большинстве случаев является нарратор (повествователь / рассказчик) или персонаж, в чью речевую партию включен рефлексив. Внетекстовыми субъектами языковой имплицитной рефлексии всегда являются реальный автор и реальный читатель.

ляется *декаданс*, при этом статусный квалификатор отсутствует, что четко ориентирует метаязыковой комментарий не на означающее (слово *декаданс*), а на означаемое:

Когда мы говорим «декаданс», то обычно понимаем под этим нечто изящное, утонченное. А декаданс — это упадок, болезнь.

Показательный пример четко проявленной двунаправленности языковой рефлексии (на означающее и на означаемое) находим в повести Юрия Буйды «Покидая Аркадию»:

В школе она училась по-прежнему лучше всех, но отношения со сверстниками у нее разладились. ...Ее тошнило от языка, который еще недавно их объединял. Для них слово *мрак* было словом, а для нее *мраком*.

Для сверстников героини повести *мрак* — только слово с общеизвестным словарным значением ‘полное отсутствие света, освещения, темнота || *перен.* безотрадность, безнадежность’ [МАС, 2: 420], поскольку безотрадность, безнадежность для них — область непережитого. Для героини романа *мрак* — означаемое: беспросветный ужас переживаемого семейного насилия.

В рассказе Марины Степновой «Боярышник» субъект рефлексии — совсем ребенок — вполне осознает несоответствие означающего (глагола *посидите*) и означаемого (*не сидим, ползаем*). Причем не только вскрывает расхождение между словом и денотатом, но и находит слова охарактеризовать эту ситуацию (*посидеть — это просто слово*):

Мама дает ей рубль и говорит: *Посидите* с ребенком, пожалуйста. *Посидеть* — это просто такое слово. На самом деле мы с бабой Маней не сидим, а ползаем — по ковру, потом за креслами и снова по ковру.

Рефлексив: «аксиологическая переориентация слова»

По наблюдениям И. Т. Вепревой, «в современном русском языке активно используются метакомментарии при лексических единицах с понятийно-прагматической семантикой, обла-

дающих сильной энергетикой отрицательно заряженного слова. Использование метакомментария при таком слове приводит к аксиологической переориентации слова» [Вепрева 2014: 163]. По нашим наблюдениям, «аксиологическая переориентация слова» происходит и в рефлексивных фрагментах современной прозы. Причем не только негативная оценка меняется на положительную, но и плюс замещается минусом. Проиллюстрируем сказанное примерами.

Переключение оценки с традиционно положительной на противоположную происходит и в следующем рефлексиве из романа Степновой «Сад»:

Радович не знал... какую стезю выбрать — статскую ли службу или военную, и даже само это слово *сте́зя* казалось ему таким же пыльным и унылым, как аллеи казенного Карамзинского сада.

В первой части высказывания (*Радович не знал... какую стезю выбрать — статскую ли службу или военную*) слово *сте́зя* употреблено в значении '2. книжн. и высок. Жизненный путь, направление деятельности, развития' [МАС, 4: 355]. Показательные иллюстрации сопровождают это значение слова в Толковом словаре Д. Н. Ушакова: «*Стезю правды бодро следуй*» Пушкин. «*И стезю благодатную Русь вперед помчится вольная!*» Огарев.

Ядерные семы и конносемы лексического значения слова *сте́зя* определяют его положительную оценку.

Вторая часть высказывания (*даже само это слово **сте́зя** казалось ему таким же пыльным и унылым, как аллеи Карамзинского сада*) представляет собой рефлексив, на объект которого персонаж романа переносит характеристики аллеи Карамзинского сада (*пыльные и унылые*). Они гасят традиционные коннотации слова *сте́зя* и наводят новые — коннотации *устарелости, допотопности, депрессивности*. Соответственно, с положительной на негативную меняется и оценка слова.

В следующем рефлексивном фрагменте субъект рефлексии — персонаж-повествователь романа Евгения Водолазки-

на «Чагин» — в письме к любимой (заметим — электронном) ищет слова, которые смогут выразить искренность и глубину его чувства:

Скажу коротко: Ника, ты — жизнь моя.

Перечитал сейчас эту фразу — первоклассный, в общем-то, *китч*. И я ее, знаешь, оставляю. У *китча* есть одно преимущество: он передает силу чувства, а хороший стиль с этим не справляется.

Найденная фраза «*Ника, ты — жизнь моя*» становится объектом языковой рефлексии (авторерефлексии адресанта письма) и сначала оценивается им самим негативно — как *первоклассный китч* (‘нем. Kitsch — ‘безвкусная массовая продукция, рассчитанная на внешний эффект, дешевка’ [СИС: 280]). Затем решение сохранить в письме эту фразу оказывается отрефлексировано в комментарии, содержащем положительно оценочное суждение: *китч... передает силу чувства*. При этом обязанность рефлексии над продолжением фразы — *а хороший стиль с этим не справляется*, интерпретация фраземы **хороший стиль** возлагается на способного к рефлексии внетекстового читателя.

В романе Елены Чижовой «Терракотная старуха» объектом оценочной рефлексии становится слово прагматик:

— Вам знакомо слово *прагматик*? <...> Не правда ли, гнусное? Теперь оно входит в моду. Точнее, уже вошло.

Толковый словарь середины прошлого века трактует существительное *прагматик* следующим образом: ‘1. последователь прагматизма как философской системы; 2. историк, придерживающийся прагматизма в изложении исторических фактов’ [МАС, 4: 488]. Как видим, оба толкования не отвечают современной узуальной семантизации слова *прагматик*. В Сети нетрудно найти приемлемую, на наш взгляд, формулировку значения этого слова: «Прагматик — это человек, который обдумывает свои действия на несколько шагов вперед и принимает решения исходя из реальной пользы» (www.gazeta.ru). Сетевые аналитики, описывая личностные качества прагматика, отмечают как положительные (целеустремленность, гибкость, реализм, эффективность, честность, открытость), так и отрица-

тельные черты человека этого психотипа (нередкое отсутствие эмпатии, душевности, недостаток креативности, цинизм). Если верить приведенным данным, достоинства прагматиков все-таки перевешивают их недостатки.

Лаконичный оценочный рефлексив *Вам знакомо слово прагматик?* <...> *Не правда ли, гнусное?* эксплицирует крайне негативную оценку субъектом речи референта слова *прагматик*. Степень резкости, категоричности негативной оценки вытекает из ингерентной негативности прилагательного *гнусный* ('вызывающий отвращение; омерзительный, гадкий || Подлый, способный совершать гадости' [МАС, 1: 430]). Фразы *Теперь оно* [слово *прагматик*] *входит в моду. Точнее, уже вошло* также ориентированы не на само слово, а на означаемое им — на тип личности с такими негативными качествами природы, которые в представлении субъекта рефлексии неминуемо стущаются в пороки и становятся чреватые подлыми поступками.

Концептуальные рефлексивы

Концептуальные рефлексивы определяют как средства «выражения мировоззренческих установок говорящего» [Вепрева 2005: 103]. Объектами языковой рефлексии в концептуальных рефлексивах выступают «культурно и общественно значимые слова» [Булыгина, Шмелев 1999: 158—159]. Так, в произведениях Евгения Водолазкина и Алексея Варламова объектом метаязыкового комментария становится слово *успех* — имя соответствующего культурного концепта, функционированию которого в русском и иностранных языках посвящены многие научные исследования.

В романе Е. Водолазкина «Брисбен» слово *успех* употребляется несколько раз, а в следующих двух фрагментах *успех* становится объектом метаязыкового комментирования.

- (1) ...слово *успех* в древности имело три основных значения. Первым и самым важным было значение польза (Лиза написала слово на доске), прежде всего польза духовная. Добрые дела творились на успех людям. Вторым значением было движение вперед, продвижение — например, по службе. Наконец, третье значение

слова *успех* передается современным (и родственным успеху), словом, поспешность. <...> На доске осталось только первое значение слова *успех*. Других значений Лиза не записала.

Персонаж романа преподаватель-филолог Лиза рассказывает студентам об этимологии слова *успех* и при этом записью на доске выдвигает как наиболее ценное первое из трех былых значений слова (*польза, прежде всего польза духовная*). Второе значение (*движение вперед, продвижение — например, по службе*) не записывает, тем самым как бы отодвигает его, будто споря с современной актуализацией именно второго значения и забвением первого.

В этом фрагменте объектом языковой рефлексии слово *успех* является косвенно, опосредованно, через фразему *польза духовная*, отрефлектировать смысл которой в контексте значения и употребления слова *успех* — непростая задача для современного российского читателя, так как его языковое сознание нечасто выводит жизненный *успех* из *пользы духовной*.

(2)

— Глеб, дорогой, меньше всего я хотел бы, чтобы моя книга была историей успеха. *Успеха* в смысле *success*. Это было бы слишком просто.

— Тем более что жизнь никогда не бывает историей *успеха*...
Моя — особенно.

В этом фрагменте заявлено сравнение двух объектов языковой рефлексии: *успех* и *success*. Фразеу *Это было бы слишком просто* сложно признать метаязыковым комментарием слова *success* вследствие ее малой информативности. Но контекст романа убеждает читателя в том, что Глеб Яновский, главный герой романа, не принимает *успех* в смысле *success*, понимает успех как пользу духовную, и его самоотверженный труд музыканта — тому подтверждение. И Нестор, собирающий материал для написания биографии всемирно известного музыканта, сознательно противопоставляет «два успеха» — *успех* и *success*, понимая, насколько глубокий смысловой раздел проходит меж-

ду *успехом* духовного труда и «монетизированным» *success* 'ом дельца. Написание слова латиницей подчеркивает это расподобление¹.

В романе А. Варламова «Одсун» функционирует полноформленный рефлексив, в составе которого наличествуют три объекта рефлексии (*деньги, карьера, успех*), текстовый субъект (персонаж-рассказчик), статусный квалификатор (*слова*) и метатекстовый комментарий (*всё это были для меня бранные слова*):

Я всегда жил, ни на что не рассчитывая и не думая о будущем. По-английски это звучит очень коротко: *save tomorrow for tomorrow*. Во всяком случае, именно так пели в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда», которую в школьные годы я слушал часами. По-русски выходит длиннее: не заботьтесь о дне завтрашнем, ибо завтрашний день сам о себе позаботится. Но, правда, и *деньги, и карьера, и успех* — всё это были для меня бранные слова, и, может быть, поэтому я оказался никому не нужен в родной стране в ее другие времена, как не нужен никому сегодня в чужой.

Спаянность трех звеньев цепи (*деньги, карьера, успех*) экплицирует семантическую эквивалентность слова *успех* в анализируемом рефлексиве и слова *success* в романе Водолазкина «Брисбен». Левый и правый контекст, обрамляющий метаязыковой комментарий, подтверждает сказанное: *Я всегда жил, ни*

¹ В одной из многих научных статей по концептологии исследуется двуединный концепт «успех (успешность) / *success*»: «Разработка понятия концепта успех (успешность) / *success* и его структуры позволяют нам сделать вывод о присутствии в культуре и языке русских и американцев универсального (общечеловеческого) и национально-специфического знания. Понятийные трансформации в современном русскоязычном концепте происходят в результате широкой трансляции средствами СМИ, Интернета и ТВ образцов западной модели успеха в бизнесе, искусстве и политике. Подобные заимствования приводят к так называемым лингвокультурным сбоям в общении» [Харитоновна, Царегородцева 2015: 167].

на что не рассчитывая и не думая о будущем. <...> ...И, может быть, поэтому я оказался никому не нужен в родной стране в ее другие времена, как не нужен никому сегодня в чужой.

При мысленном объединении трех приведенных фрагментов образуется совокупный концептуальный рефлексив, в котором метаязыковые комментарии получает и русское слово *успех*, практически утратившее смысловую связь с императивом уже далекого прошлого *спеши, поспевай приносить пользу, делать добро*, и неэквивалентный русскому *успеху*, агрессивно наступательный англо-американский *success*, тесно связанный с пользой материальной.

Творческий и просветительский потенциал рефлексивов

Рефлексив как лингвопоэтический прием

Проблематика металингвистики художественного слова близка концепции лингвопоэтического комментария, необходимого, по мнению Я. И. Гина, «в тех случаях, когда объяснить форму и семантику фрагмента текста могут лингвистика и поэтика только вместе, только объединив свои усилия», поскольку «в художественном тексте поэтическая форма... встречается с формой лингвистической» [Гин 1992: 10, 12]. Лингвопоэтический комментарий и метаязыковая характеристика вступают в союзные отношения в тех случаях, когда какое-либо языковое средство подвергается выдвигению¹ и тем самым становится «лингвопоэтическим фактом» (Я. И. Гин).

Рефлексивы, в которых на основе пристального лингвистического рассмотрения различных характеристик слова вырастает образ, характерны для писательской манеры Марины Степновой.

¹ Лингвопоэтическая техника выдвигения «фокусирует внимание читателя на важных элементах сообщения, устанавливает семантические и иерархически релевантные отношения между ними, усиливает эмоциональный, оценочный, экспрессивный потенциал текста, способствует передачи импликации, иронии и разных модальных оттенков» [Арнольд 1999: 368].

Слово-то какое драгоценное — *возлюбленный*! Как корона. Всё в острых сияющих зубцах.

Объект языковой рефлексии в этом высказывании из романа «Сад» — слово *возлюбленный*, а его метаязыковой комментарий равен всему высказыванию.

Ключевая позиция компаративного тропа *как корона* и визуализация этого образа обуславливают напряжение контекстуальных связей: *драгоценное* (слово) → *корона* ← *зубцы* (если, представляя себе корону, прочитывать слово *возлюбленный* по слогам) ← *острые сияющие зубцы* (если обратить внимание на звонкие [з], [б], [н], [j], венчающие эти слоги-зубцы). Уподобление слова *возлюбленный* драгоценной короне наводит на объект рефлексии — слово *возлюбленный* — конносемы величественности, торжественности, поэтичности. Так при активной метаязыковой деятельности реципиента рождается рефлексив-образ.

В некоторых случаях бывает трудно определить границы рефлексива. Так, в повести Татьяны Толстой «Невидимая дева» содержится рефлексив:

Еще там (в одной из комнат дачи. — Н. Б.) было *трюмо*, — меня поразило это ночное какое-то слово: «трюмо».

Формально рефлексив содержит объект языковой рефлексии (*трюмо*), текстовый субъект рефлексии (девочка-подросток, которая, затаив дыхание, осматривает соседскую дачу), статусный квалификатор (слово), метаязыковой комментарий (*меня поразило это ночное какое-то слово*), то есть перед нами — полнооформленный, но малоинформативный рефлексив.

Чем слово *трюмо* поразило девочку? Почему она назвала слово *трюмо* *ночным*? Найти ответы на эти вопросы можно, расширив границы рефлексива фразами правого контекста:

— а на стене на крючке висел бледно-лиловый халат тети Веры, халат цвета вздохов, цвета белой ночи, шепота и нездешних волнений. Он пах так прекрасно, что сердце останавливалось. Он пах Белым Домом, 1914 годом, далекими, нетронутыми лесами.

Расширенный рефлексивный фрагмент делает понятным, что слово *трюмо* поразило девочку волшебной способностью отражать красоту окружающего, начиная с *халата цвета вздохов, цвета белой ночи* (вот она — ночь), пахнущего прекрасным прошлым, и заканчивая *далекими лесами*. Итак, *ночное трюмо* распахивает перед читателем чарующий перцептивный образ прекрасного мира — видимого, слышимого, ароматного.

В повести Дины Рубиной «Камера наезжает» объектом языковой рефлексии является антропоним *Виолетта* — предполагаемое имя *нежной дивы*:

Звали ее... ой, я забыла, как ее звали. Хорошо бы — Виолетта: мне кажется, это имя с двумя плывущими гласными в начале и фокстротно притопывающими «тт» в конце удивительно подходит сей нежной диве.

По наблюдениям Н. А. Николиной и М. Р. Шумариной, «нередко авторы оценивают единицы фонетического уровня — звуки (а также сочетания звуков), наделяя их значением, которое выходит за рамки их первичной функции» [Николина, Шумарина 2016: 499]. В справедливости этого замечания убеждает анализируемый пример, в котором звуки и их «танцующие» сочетания выступают в уникальной функции создания динамичного портрета женщины, изоморфного ее имени.

В романе Водолазкина «Брисбен» объектом рефлексии становится астионим *Брисбен*:

Говоря о городе своей мечты, мать назвала *Брисбен*. Когда ее спросили, почему именно этот город, ответила просто: красиво звучит. Ответ показался смешным — всем, кроме Глеба. *Брисбен*. Город легко присоединился к Зурбагану, Гель-Гью и Лиссу...

Брисбен как *красиво* звучащее наименование *города мечты* в начале одноименного романа Евгения Водолазкина является безденотатным словом, обладающим только фонетическим значением (как и имена романтических городов мечты Алек-

сандра Грина)¹. Результаты фоносемантического анализа слова *Брисбен* говорят о проявленности таких признаков, как «хороший», «активный», «быстрый», «яркий» [psi-technology.net], которые не противоречат положительной оценке города мечты. По мере развития романного повествования город Брисбен материализуется (мама Глеба вступает в переписку с его жителем и затем уезжает к нему), но слово *Брисбен* остается аудиальным, звучащим образом мечты о прекрасном, достойном дать имя всему роману о музыке и жизни.

Способность рефлексивов разворачивать в образ даже антипоэтические объекты языковой рефлексии может быть продемонстрирована примером из романа Юрия Буйды «Ермо»:

Это потом, впоследствии — какое горбатое и низменное слово *впоследствии*, подловатенькое, как урод, сипящее, подсвистывающее, расплющенное и сходящее на нет тоненьким дифтонговым визгом...

Какие же компоненты рефлексива создают образ *урода* из такого материала, как стилистически и оценочно нейтральное временное наречие? Во-первых, это прилагательное *горбатое*, вероятно потому, что ударный звук [э] в слове *впоследствии* можно интерпретировать как вершинную точку слова, то есть его «горба»; во-вторых, дерогативное прилагательное *низменное* в негативном оценочном значении; в-третьих, еще один оператор негативной оценки — прилагательное *подловатенький* с коннотаций издевки, обусловленной внедрением в структуру дерогатива *подловатый* ласкательно-уменьшительного суффикса *-еньк-*; в-четвертых, компаративный троп *как урод*; в-пятых, характеристика звуков слова — объекта рефлексии: сипящие [ф], [п], [с], [т], [с], [т], подсвистывающие [с], [с], ис-

¹ «Единицы низшего, фонетического уровня по традиционному представлению никаким значением не обладают. Но если понимать содержательность языковой формы как символическое значение, то возникает возможность считать символику звуков речи значимостью фонетической формы, или фонетическим значением» [Журавлев 1974: 31].

ходящие дифтонговым визгом [и], [и]; в-шестых, многосложность *расплющенного* слова; в-седьмых, шипящие причастия: *сипящее, подсвистывающее, расплющенное, сходящее на нет*.

В повести Татьяны Толстой «Легкие миры» рефлексив принимает форму диалога преподавателей колледжа — американца и русской:

— Расскажи мне что-нибудь удивительное про ваш алфавит.

Про русский алфавит.

— В русском алфавите есть буква Ъ. Твердый знак.

— Как она звучит?

— Никак.

— Совсем?

— Совсем.

— Тогда зачем она?

— Это такой вид молчания, Эрик. В нашем алфавите есть знаки молчания.

Объект рефлексии — буква как графический знак, обозначающий звук в письменной речи. Русскому читателю, конечно, известны две буквы нашего алфавита, которые выполняют определенные функции, но *звучат никак. Совсем*. Из объективно наличествующей неспособности звучать рождается образ буквы как *знака молчания*, а знаки молчания, как известно, многозначны и полифункциональны.

Рефлексив способен создавать условия для остраненного восприятия объекта рефлексии посредством изменения эмоциональной тональности устойчивого контекстного окружения слова на противоположную. При этом создается эффект двуплановой рецепции слова, поскольку исходная тональность уходит на второй план, но не исчезает вследствие своей устойчивости, а новая, контекстуально обусловленная тональность выходит на первый план и доказывает смысловую продуктивность обновленного восприятия. Рефлексивный фрагмент романа Николая Кононова «Нежный театр» иллюстрирует сказанное:

И есть же легкое слово — *погост*. Краткое, как точка. Острое и покойное. Как хорошая осенняя погода. Как невидимый покров свежих холодов. Да-да — оболочка прохлады, сулящая конец, сон без сновидений.

В словаре Даля содержится иллюстративный совокупный текст, тематически организованная лексика которого передает устойчивую тональность кладбищенского текста: *Были и кости, да все на погосте. На погосте живучи, над покойниками не наголосишься. И жаль батьки, да везти на погост. Щеголь с погосту, и гроб за плечами. Мертвых с погосту домой не носят* [Сл. Даля, 3: 156]).

В романе Кононова объектом языковой рефлексии является слово *погост*, при этом в рефлексиве отсутствует кладбищенская лексика (*кости, покойники, мертвые, гроб*), смерть оборачивается *концом*, равным *сну*, саван — *невидимым покровом, оболочкой прохлады*. Само слово *погост* определяется как *легкое* и *покойное*¹ и *уподобляется хорошей осенней погоде* (гармоничной осени жизни). Все это изменяет, «высветляет» устойчивую, традиционно скорбную, печальную, мрачную тональность высказываний о кладбище, и в результате в романе «Нежный театр» рождается небанальный лирический образ *погоста* как локуса вечного упокоения.

Регулятивная функция рефлексива

Проблемное поле языковой рефлексии имеет зону пересечения с регулятивностью — способностью текста регулировать восприятие, понимание и интерпретацию текста в соответствии с авторскими интенциями [Болотнова 2003]. Необходимость регулирования читательского восприятия осознается и литераторами. Водолазкин говорит об этом так: «...писатель, когда

¹ Заметим: обычно прилагательное *покойное* в зависимости от контекста употребления отсылает реципиента либо к существительному *покой* (*покойное место* = *уголок покоя*), либо к существительному *покойный* — результату субстантивации прилагательного *покойный*. В анализируемом примере прилагательное *покойное* функционирует как перемещенный эпитет (*место покойное* → *слово покойное*).

пишет, не столько создает свое произведение, сколько создает на нем кнопки для того, чтобы нажимал читатель на те кнопки, которые ему (писателю) нужны» [Водолазкин, Легойда 2024].

Современная проза изобилует регулятивами различной степени влияния на читательскую рецепцию. Обратимся к конкретным примерам.

Регулятив-рефлексив в романе Водолазкина «Оправдание Острова» убеждает читателя в преданности князя Парфения Острову и решимости его защищать. Понимание действительного патриотизма как главенствующей и неподвластной времени черты личности правителя Острова регулирует восприятие читателя романа до финала истории о Парфении и Ксении:

В первом случае надо было просто пустить вражеские корабли в островную гавань и открыть ворота Города. *Просто* — слово-то какое... Просто согласиться с вечным командованием извне, с систематическим грабежом и, что хуже всего, с постоянной униженностью своего народа.

Влиятельный регулятив формирует устойчивое мнение читателя о главной героине романа Чижовой «Терракотовая старуха» как о личности, внутренне сопротивляющейся искажению нравственной картины мира в лихие 90-е, которое неминуемо отражается и в языке:

— Они полагают, что *достойны* счастливой жизни. Сытой и покойной. Представь, у них это называется *достойной*. До чего же надо дойти, чтобы так не слышать родного языка! *Достойный* — не значит хороший. *Достойный* — это значит каждому по его достоинству. По Сеньке — и шапка.

На первых страницах романа Водолазкина «Чагин» появляется оригинально устроенный регулятив-рефлексив: текстового субъекта языковой рефлексии Павла Мещерского раздражают напоминания о том, что описание архива умершего коллеги Исидора Чагина — его долг, но в итоге весь роман повествует о чувстве долга, о тяготах и радостях бескорыстного следования долгу:

Когда я объявил, что собираюсь написать о моей работе, кто-то сказал, что это мой *долг*. Потом еще кто-то: банальности произносятся многократно. Я не люблю слова *долг*. Оно представляется мне в виде скорбного отсчитывания купюр.

Лингводидактическая функция рефлексива

По словам Ю. М. Лотмана, «язык искусства... обязательно включает элементы рефлексии над собой... чем индивидуальнее художественный язык, тем более места занимает авторская рефлексия, направленная на язык и включенная в его же структуру. Текст сознательно превращается в урок языка» [Лотман 1996: 18—19].

«Текст сознательно превращается в урок языка». Это суждение справедливо при встрече любого читателя и любого текста, но особенно ценно и продуктивно при условии сознательного превращения читателя в ученика, готового учиться. Современная проза богата рефлексивами, представляющими разнообразный по тематике и сложности усвоения дидактический материал. Тот, кто предоставляет нам, читателям, «учебный материал», меняет маски: то он усталый школьный учитель, то умный и изобретательный репетитор, то просветитель-популяризатор, то просто интересный и равнодушный собеседник. Обратимся к примерам «учебных» рефлексивов.

(1) Она никогда не говорила *Питер*: не жалея времени и усилий, тщательно произносила *Петербург* (Водолазкин, «Брисбен»).

(2) «Я никогда не сказала бы *шикарно*, только *роскошно*», — говорила мне Галка строго (Степанова, «Памяти памяти»).

В каждом из этих примеров рефлексив показателен, во-первых, наличием не одного, а двух объектов языковой рефлексии (*Питер* и *Петербург*, *шикарно* и *роскошно*); во-вторых, отсутствием изложения аргументов предпочтения субъектом речи слов *Петербург* и *роскошно*, а значит, отсутствием метаязыкового комментария; в-третьих, категоричностью выбора, сде-

ланного субъектами речи (Лизой и Галкой), провоцирующей читателя на имплицитную метаязыковую рефлексию, направленную и на его собственную речевую практику.

Приведенный пример демонстрирует, как метаязыковая рефлексия в литературном дискурсе реализует одну из важнейших своих функций — воспитание языкового вкуса читателя.

(3) «А как тебе нравится их новейшее словечко *амбассадор*, — говорил Тимур, — они его суют, куда ни попадя, и оно торчит из фразы металлической гребенкой. Древнее русское-величавое *посол* их уже, видишь ли, не устраивает!» (Рубина, «Маньяк Гуревич»).

В структуре этого рефлексива также два объекта языковой рефлексии: заимствование *амбассадор* (< фр. *ambassadeur*) и русское слово *посол*. Эти слова семантически эквивалентны, относятся к дипломатической лексике. Негативная реакция субъекта речи на растущую популярность слова *амбассадор* в русской речи выражена комплексом языковых средств: и суффиксом *-ечк-*, умаляющим достоинство «официального» слова, и снижающими глаголами *суют*, *торчит*, и сравнением с бытовым предметом — *гребенкой*. Метаязыковой комментарий слова *посол* (*древнее русское-величавое*) является подчеркнуто положительным и уважительным. Предпочтение субъектом рефлексии русского слова очевидно и однозначно. Рефлексирующий читатель должен сделать свой выбор. При этом ему следует учесть растущую частотность употребления слова *амбассадор* в значении ‘человек, который представляет и продвигает бренд, продукт или услугу не через прямую рекламу, а делая их частью своей жизни. Он пользуется продуктами бренда сам и демонстрирует это аудитории, которая ему доверяет’ (elama.ru).

В романе Чижовой «Терракотовая старуха» в стилистически сниженном контексте подается вошедшее в общее употребление заимствование *винтаж*:

(4) Это старье называется *винтаж*... <...> *Винта-аж*... Обноски. Обыкновенный секонд-хенд (Чижова, «Терракотовая старуха»).

И в этом случае читатель должен принять собственное решение: согласиться с тем, что претендующий на стильность и противостояние гламуру *винтаж* — всего лишь *обноски*, или аргументированно защитить и слово *винтаж*, и означаемое этим словом.

(5) В отличие от пуриста Гуревича она поддалась губительному смешению двух языков, которое отличает представителей всех эмиграций; мороженое называла исключительно *глидой*... чем ужасно бесила мужа. «Ты не понимаешь, — кипятился он, — в русской фразе это чужое слово торчит и напоминает гниду?» (Рубина, «Маньяк Гуревич»).

Пример иллюстрирует речевую беду русскоязычных эмигрантов: в другой стране они продолжают говорить между собой на русском, но непроизвольно включают в свою речь отдельные слова и выражения языка страны проживания, что порождает неудобоваримую словесную смесь. Главный герой романа Рубиной — ленинградец, уже давно живущий в Израиле, остается ревнителем чистоты русской речи, считает недопустимым *смешение* слов русского языка и иврита. В доказательство своей правоты он неосознанно приводит в действие механизм паронимасии: подчеркивает звуковую перекличку слова *мороженое* на иврите (מְרִיזָה [мриза]) с русским словом *гнида*¹. Усвоить урок Гуревича полезно и русскому читателю.

¹ «Звучание услышанного «русским слухом» рождает у персонажа-повествователя пучок фонетических ассоциаций с русскими словами, разворачивает компактные ассоциативные поля. Такое двуслойное восприятие набрасывает новые смыслы (*рождает шлейф иносмысловых теней*), наводит на сказанное «по-ивритски» то насмешливую (1), то поэтическую (2), то уничижительную (3) коннотации: (1) — *Я призываю всех «раказим» спуститься в ущелье! (Всем рогатым козлам — пасться в кизиловых рощах!);* (2) *...первое золотистое масло, «ше́мен кати́т» — «шевеление плоти, шелест олив платины свет»;* (3) *Моя должность, в сущности, называлась «Дина из Матнаса». <...> Матнаса. Такой вот «матрас с поносом, носок с атласом, матом он нас послал...» А в переводе на русский — Дворец культуры и спорта [Бабенко 2019: 133—134].*

(6) Назначаю встречу в ресторане «Пушкинь» на Тверском бульваре. Мне все в нем нравится, кроме этого дурацкого «Ъ». У хозяина не хватило вкуса, чтобы понять, что Пушкин не нуждается в винтажности (Басинский, «Любовное чтиво»).

В этом примере объектом рефлексии является уместность / неуместность использования буквы ъ с целью стилизации «под старину». Мнение персонажа-рассказчика понятно: *дурацкий «Ъ»*. Совпадет ли мнение читателя с такой оценкой и аргументацией (*Пушкин не нуждается в винтажности*) — решать ему, но при этом следует помнить о том, что языковой вкус — дело тонкое. Доказательством не просто стилистической неловкости, а бездумности, абсолютной «неотрефлексируемости» использования ъ в рекламных целях может служить эмпороним «Русичь»¹.

(7) Можно излить страсть в романсе, но это будет не страсть — *чюство*. А можно просто рычать. Это не так, может быть, эстетично, но отражает накал (Водолазкин, «Чагин»).

Невозможно найти современного читателя, забывшего правописание буквосочетаний с непарными по твердости и мягкости согласными *жи / ши, ча / ща, чу / шу*. Филолог Павел Мещерский, персонаж романа Водолазкина «Чагин», намеренно нарушает правило, определяя *страсть в романсе* как *чюство*. При этом ошибочное написание оборачивается лингвопоэтическим приемом, цель которого — дать понять читателю, что, следуя стилистике жанра, классическому канону любовного романса, исполнитель чрезмерно выражает / изображает страсть. Так и написание *чю* чрезмерно, избыточно в графическом изображении мягкости всегда мягкого согласного [ч]. Задача читателя — запомнить, что следует обращать особое внимание на «ложные» ошибки в художественном тексте.

¹ «Необоснованное использование «Ъ» ведет к некорректному написанию наименований, например, многопрофильная компания «РУ-СИЧЬ» (ни в современной, ни в дореформенной орфографии «Ъ» на конце никак не ставился, поскольку звук [ч] мягкий)» [Мигранова 2015: 107].

В примерах (8) и (9) объектом рефлексии являются акцентологические нормы русского языка.

(8) После долгих переговоров лечащий врач позволил взять Анну из клиники на один вечер. Предупредил, что это риск, и категорически запретил ей **алкогóль**, даже в самых малых количествах. Он сказал **áлкоголь**, и в таком произношении опасность стала еще очевиднее (Водолазкин, «Брисбен»).

Рефлексируя над акцентологическими вариантами *алкогóль* и *áлкоголь*, читатель должен быть уже знаком или предварительно ознакомиться с особыми условиями бытования этих вариантов: нормативное ударение падает на последний слог слова *алкогóль*, но в среде медиков используется профессиональный акцентологический вариант: *áлкоголь*. А вот почему в таком произношении опасность стала еще очевиднее, читатель должен объяснить себе сам.

(9) Многое зависит от языковой среды, в которой вырос ученик. Если в семье говорят *создАлась*, *бантАми* и *нАчать*... (Чижова, «Терракотная старуха»).

В этом примере на всеобщее порицание представлены распространенные акцентологические ошибки.

В примере (10) объектом «учебной» рефлексии становятся грамматические явления¹:

(10)

— Семеновский написал, что и вообразить не мог, что *на театре* можно играть так. <...> А почему он написал «*на театре*»? Жаргон?

— Да, — сказала Нора. — Зрители говорят в театре, актеры — на. *На театре* (Буйда, «Покидая Аркадию»).

¹ «Грамматическую рефлексию нельзя рассматривать в качестве периферии рефлексивного дискурса. <...> Их (грамматических рефлексивов. — Н. Б.) научный анализ позволяет под новым углом зрения увидеть неразрывное единство когнитивного и прагматического уровней структуры языковой личности» [Ремчукова 2002: 196].

Субъект — один из персонажей повести, сомневающийся в своей способности правильно отрефлексировать неожиданную, неловкую для него, но привычную для людей театра предложено-падежную форму *играть на театре*. Читателю предоставляется возможность создать свой имплицитный метаязыковой комментарий, объясняющий тяготение людей театра к «корпоративной», профессиональной норме. Может, все объясняет то обстоятельство, что публика идет *в театр*, а актеры играют (практически живут) *на сцене*, и по аналогии с нормативным управлением «*на сцене*» возникает ненормативное, но нормальное, привычное для людей театра «*на театре*».

Выводы

Рефлексив как метавысказывание о каком-либо элементе художественного текста (букве, звуке, слове, словосочетании, предложении, субтексте) зачастую является регулятивом — компонентом текста, направляющим процесс читательской рецепции.

Рефлексивы, функционирующие в произведениях современных прозаиков, характеризуются: 1) эстетической мотивированностью; 2) типологическим многообразием; 3) широким спектром лингвопоэтических приемов подачи; 4) полифункциональностью; 5) культуросберегающей значимостью; 6) лингводидактической направленностью; 7) необходимой мерой научной корректности.

Рефлексивы отличаются облигаторной актуализацией в семантической структуре художественного текста.

Большая часть рефлексивов, функционирующих в произведениях современных прозаиков, представляет собой синтез информем и прагмем.

Рефлексивный поиск новых способов самоидентификации и самовыражения в словесности писателей филологической школы (в широком понимании этого выражения) по-разному, но очевидно отражается в поэтике произведений Юрия Буйды, Алексея Варламова, Евгения Водолазкина, Марии Степановой, Марины Степновой, Татьяны Толстой.

Языковой рефлексии реального автора вторит языковая рефлексия реального читателя. Двуединство этих имплицитных метаязыковых процессов рождает особо активный и особо продуктивный тип литературной коммуникации.

Список литературы

Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1999.

Бабенко Н. Г. Язык и поэтика русской прозы в эпоху постмодерна. М. : URSS, 2019.

Болотнова Н. С. Регулятивность // Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М., 2003. С. 328—331.

Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Человек о языке (метаязыковая рефлексия в лингвистических текстах) // Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. М., 1999.

Вепрева И. Т. Метаязыковой привкус эпохи. Saarbrücken : Palmarium Academic Publishing, 2014.

Вепрева И. Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. М. : Олма-пресс, 2005.

Винокур Г. О. Об изучении языка литературных произведений // Винокур Г. О. Избр. работы по русскому языку. М. : Учпедгиз, 1959.

Водолазкин Е., Легойда В. Господь дал мне то, что сейчас называется креативностью: интервью // Фома : интернет-сайт журнала. URL: <https://foma.ru/evgeniy-vodolazkin-gospod-dal-mne-chto-seychas-nazyivaetsya-kreativnostyu.html> (дата обращения: 28.07.2024).

Гин Я. И. «Неизбежная тирания материала...» (О понятии лингво-поэтического факта и лингвопоэтического комментария) // Русская речь. 1992. № 6. С. 10—16.

Журавлев А. П. Фонетическое значение. Л. : Изд-во ЛГУ, 1974.

Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров Человек — текст — семиосфера — история М. : Языки русской культуры, 1996.

МАС — Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд. М. : Рус. яз., 1981—1984.

Мигранова Л. Ш. Графико-орфографическое иноязычие в рекламных вывесках // Филология и культура. 2015. № 4 (42). С. 106—108.

Николина Н. А., Шумарина М. Р. Метаязыковая рефлексия и креативный потенциал языка // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. 2016. № 1 (7). С. 497—507.

Ремчукова Е. Н. Грамматика и рефлексивный дискурс // Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия VIII. Тарту, 2002. С. 181—197.

СИС — Современный словарь иностранных слов. СПб. : Дуэт, 1994.

Сл. Даля — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 1978—1980.

Харитоновна О. В., Царегородцева Е. О. Концепт «успех» в русской и американской лингвокультурах // Национальная ассоциация ученых (НАУ). Социологические науки. 2015. № 4 (9).

Шмелева Т. В. Языковая рефлексия // Культура русской речи : энцикл. словарь-справочник. М., 2003. С. 810—811.

Шумарина М. Р. Язык в зеркале художественного текста. Метаязыковая рефлексия в произведениях русской прозы. М. : Флинта, 2011.

Список источников

Басинский П. Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой. М. : АСТ, 2018.

Басинский П. Любовное чтиво. М. : АСТ, 2020.

Буйда Ю. Ермо. М. : Эксмо, 2013.

Буйда Ю. Покидая Аркадию. М. : Изд-во «Э», 2016.

Варламов А. Одсун. М. : Редакция Елены Шубиной, 2024.

Водолазкин Е. Брисбен: роман. М. : Изд-во АСТ, 2019.

Водолазкин Е. Оправдание Острова. М. : Изд-во АСТ, 2021.

Водолазкин Е. Чагин: роман. М. : Изд-во АСТ, 2023.

Кононов Н. Нежный театр. М. : Вагриус, 2004.

Рубина Д. Камера наезжает. М. : Эксмо-Пресс, 2014.

Рубина Д. Маньяк Гуревич. М. : Эксмо, 2022.

Степанова М. Памяти памяти. М. : Новое изд-во, 2021.

Степнова М. Боярышник // М. Степнова. Где-то под Гроссето : рассказы. М. : Изд-во АСТ, 2016.

Степнова М. Сад : роман. М. : Изд-во АСТ, 2021.

Толстая Т. Легкие миры. М. : АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014.

Толстая Т. Невидимая дева. М. : Изд-во АСТ, 2019.

Чижова Е. Терракотовая старуха : роман. М. : Астрель, 2011.

РАЗДЕЛ II

КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ ОПЫТА (на примере английского и русского языков)

1. *Comfort* как имя концепта культуры: ценности и антиценности

Язык, будучи компрессией человеческого опыта и его отражением, существует во времени и непрерывно изменяется, подобно тому, как меняется и говорящее на нем общество. Трансформации языка на его отдельных уровнях традиционно составляют объект лингвистических изысканий. Исследования ведутся как в рамках собственно языковой системы, так и, после утверждения в языкознании антропоцентрического принципа, в их соотношении с человеком и условиями его жизни. В последние десятилетия, вследствие расширения спектра когнитивных телесно-ориентированных исследований (ср.: [Clark 2006; Dess 2021; Dove 2023; Mahon 2015]), основной интерес как в отечественной, так и зарубежной науке вызывают те языковые и когнитивные процессы, которые обусловлены внешними, в широком смысле физическими, факторами существования человека и общества.

Значительно меньшее внимание уделяется рассмотрению трансформаций, причины которых имеют нематериальную природу. По-прежнему недостаточно изучен вопрос отражения в языке изменяющихся ценностных ориентаций общества — тех смыслопорождающих установок, которые определяют свойственные исторической эпохе направления интереса [Гайденок 1990: 9]. Вместе с тем именно система ценностей сохраняет единство нации, государства и социума, диктуя императивы, определяя цели и предоставляя инструменты контроля. Центральное место в системе ценностей занимают идеалы,

связывающие разрозненные потребности в единое целое и присутствующие во всех сферах человеческой жизни — нравственно-этической, общественно-социальной, эстетической, политической, научной. Идеальное бытие не является отдельным «миром идей», но выражает «конкретную полноту живой реальности» [Франк 2003: 181]. В идеалах, носящих сверхвременной и сверхпространственный характер, преодолеваются противоречия между индивидом и обществом, между всеобщим и единичным, целым и частью, между миром умопостигаемым и чувственно-эмпирическим, между долгом и желанием.

На протяжении многих веков «идеал идеального» составлял фундамент европейской шкалы ценностей; им были пронизаны все области европейской культуры, включая искусство с его концепциями прекрасного как образца совершенства, и нравственность с характерным для нее приоритетом ценностей традиционной культуры над ценностями цивилизации [Можейко 2002].

Двадцатый век становится свидетелем беспрецедентного по своему масштабу процесса деаксиологизации массового сознания. Отрицание всех прагматических, превосходящих физическое существование ценностей, исключение идеальной вневременной реальности как начала преображения мира сопровождается экспансией идеологии «гедонистического цинизма», заполняющего собой все пространство социальной жизни (ср.: [Жижек 2013]). В мире, погруженном в «заботу» и замкнутом на земном и конечном «бытии-к-смерти» [Хайдеггер 2003], ценность попадает в зависимость от интересов оценивающего и нивелируется, что ведет к релятивизации морали и распаду социальности и культуры.

В контексте усилившегося в настоящее время процесса «деформации традиционной ценностной парадигмы» [Анненкова 2011: 268] особую актуальность приобретает поиск путей предупреждения процесса дальнейшей нивелировки ценностей. Необходимым этапом исследовательской работы в этом направлении может стать выявление механизмов деаксиологизации картины мира. В нашем исследовании мы исходим из утверждения первичности концептуального уровня, выступающего ментальной основой семантических структур языка. Изучение

изменений, происходящих в функционально-семантическом «профиле» ценностно-значимых языковых единиц, позволит установить векторы тех скрытых от непосредственного наблюдения когнитивных процессов, результатом которых являются фундаментальные трансформации аксиосферы культуры.

Цель настоящей главы состоит в исследовании динамики концептуального наполнения английской лексемы *comfort* — имени одной из базовых ценностей англо-американской цивилизации. Феномен комфорта, детально описанный с позиций экономической социологии и социологии культуры [Зазуля 2020; Maldonado, Cullars 1991; Hickey 2023], политологии, культурологии и истории культуры [Кашенко 2013; Сарикек 2016; Crowley 2003; De Jean 2009; Grier 2010; Bawden 2019], психологии и психофизиологии [Boduch, Fincher 2009; Shove 2003], редко становился предметом специального лингвистического анализа [Гриднев 2002; Щеглова 2013; Шетэля 2018]. Отсутствуют комплексные диахронические исследования лексемы *comfort*, требуют изучения социокультурные факторы, оказавшие влияние на формирование смыслового поля слова. Этим определяется проблемное поле настоящей главы, в которой на основе лексикографических, корпусных и текстовых данных реконструируется процесс становления слова *comfort* как имени ключевого для англоязычной картины мира концепта — «сгустка культуры» в ментальном мире человека [Степанов 1997, 40]. Исследование проводится с привлечением кросс-культурных и межязыковых параллелей: во втором параграфе главы рассматриваются особенности функционирования слова *комфорт* в русском языке последних двух столетий.

1.1. Comfort как имя концепта культуры: векторы смысловых трансформаций

1.1.1. «Начало пути»: высокие смыслы лексемы *comfort*

Началом формирования традиционной английской аксиосферы стала в VI—VII вв. христианизация обосновавшихся в Британии германских племен. Проникновение вглубь народного бытия христианства оказало решающее влияние на характер исторического пути английской культуры. Единство в области

ценностей обеспечивало религиозное чувство — убеждение в том, что «человека делает человеком то, что выходит за пределы его жизни, т. е. дух» [Выжлецов 1996: 71]. Абсолютная ценность, в которой «исчезает всякая относительность», отождествлялась с трансцендентным миром царства Божия, тогда как относительные ценности приобретали значимость «в силу связи с целью, которую они осуществляют, с благами, к которым они ведут» [Кюльпе 1908: 318—319]. «Мерой вещей» выступала ожидавшая человека вечность — не абстрактно-нейтральная бесконечная длительность, но лично воспринятое инобытие, разворачивающееся в категориях добра и зла.

Именно в этом, ценностно-определенном контексте происходило первоначальное оформление семантического контура слова *comfort* («утешение»). Вошедшее в английский язык на рубеже XII—XIII вв. из французского языка¹, оно указывало на область чувств, прежде всего на религиозные переживания. Самые ранние фиксации лексемы отмечены в аскетическом сочинении «Устав инокинь» (*Ancrene Riwle*). Созданный неизвестным автором на юго-западном диалекте между 1215 и 1221 гг., «Устав» адресован трем знатным и образованным инокиням, пожелавшим принять монашеские обеты. Слово *comfort* передает здесь два различных значения — «подкрепление, помощь» (пример 1) и «утешение, успокоение» (пример 2):

(1) *Pe veorde dole is of fleschliche vondunges of gostliche boðe kunfort aeines ham, of hore saluen.* — Четвертая часть (устава. — А. Б., М. К.) повествует о телесных искушениях и о духовных, и об укреплении против них, о [средствах] их исцеления (Anscr. R. (Corp-C 402) 4b, 1230(?a1200) [Oxford English Dictionary 1989]);

¹ Исходный старофранцузский субстантив *cunfort* / *confort* возник на столетие раньше, ок. 1100 г., из позднелатинского глагола *confortāre* («укреплять», где *com* — эмфатическая приставка со значением полноты, завершенности, *fortis* — «сильный»). О широком распространении слова *comfort* в среднеанглийский период свидетельствует разнообразие его графических вариантов: *cum-*, *coum-*, *con-*, *cun-*, *comford*, *counfort*(ht), *confor*(d).

(2) þet oþer dredfule estat þet te seke haueð is a frommard ðis:... Sum ancre þe feleð se swiðe hire fondunges. þet na gastelich cunfort ne mei hire gleadien. — Другое опасное состояние, которое переживает больной, совершенно иное... [Это] та отшельница, которая чувствует постигшие ее искушения столь остро, что никакое духовное утешение не обрадует ее (Anscr. R. (Copp-C 402) 48a, 1230(?a1200))¹.

Слова *vondunges / fondunges* («искушения»), *gostliche / gastelich* («духовный»), *saluen* («лекарства»), *seke* («больной»), составляющие в примерах (1) и (2) ближайший контекст лексемы *comfort*, отсылают к явлениям невидимого, метафизического плана. В (1) слово *comfort* (*kunfort*) синонимично метафорически использованному существительному *saluen*, аналогичному лат. *remedium* («лекарство, средство»). Семантика предлога *aeines* («против») в сочетании *kunfort aeines ham* предполагает возможность активного действия, указывая на наличие в семантической структуре слова *comfort* идеи волевого начала. В примере (2) идея подкрепления, присущая романскому корню *fort-* (лат. *fortis* — «мощный; энергичный»), реализуется в метонимическом ключе — это «утешение», которое становится источником радости (*gleadien*).

На протяжении XIII—XIV вв. религиозный, вероучительный дискурс формирует основное контекстуальное окружение слова *comfort*. Мировоззрение Высокого Средневековья теоцентрично. «Бог — в центре помышлений и чаяний средневекового человека. Всё от Бога и всё к Богу. Бог и бессмертная человеческая душа — абсолютные ценности средневековой культуры» [Гуревич 1984: 97—98]. В религии находят свое выражение все наиболее высокие и наиболее чистые чувства. В картине мира, неотъемлемый элемент которой — «представление о человеческой личности, персонально ответственной за свою участь и свободно избирающей путь ко спасению или гибели» [Гуревич 2007: 186], внутренняя жизнь человека и ее проявления — чувства, эмоции, переживания — воспринимаются и описываются в религиозном ключе. Для средневекового человека не

¹ Примеры из среднеанглийского периода здесь и далее приводятся по: [Middle English Dictionary 2024].

существовало «ни одной вещи, ни одного суждения, в которых не усматривалась бы всякий раз связь... с христианской верой» [Хейзинга 2011: 257].

Ценностный контекст, окружающий слово *comfort* в произведениях религиозного дискурса, индуцирует в его семантической структуре идею соотнесенности с миром идеальных, духовных ценностей. Ср.:

(3) He shal haue comfort and solaz Off þe holi gost. — Получит он утешение и успокоение от Духа Святого (Speculum of Guy of Warwick, c1330 (?c1300)).

(4) Yblissed byeþ þo þet hyer wepeþ, uor hi ssole habbe þet confort of god. — Блаженны плачущие здесь, ибо они получают утешение от Бога (Ayenb. (Arun 57)96/33, 1340).

(5) Whan... the soule hath lost the confort of god, thanne seketh he an ydel solas of worldly thynges. — Когда душа утратила утешение Божие, тогда ищет она пустое забвение в земных вещах (Chaucer CT. Pars. (Manly-Rickert) I.740, c1390).

(6) Styrande hym to newe compassione, newe luffe, newe gostely comforth. — Направь его к новому состраданию, новой любви, новому духовному утешению (Bonav. Medit. (Thrn)198, c1440).

Интерпретация значения «радость», «утешение» в метонимическом ключе могла привести к «дискретизации» денотатов слова *comfort*, которое, соотносимое с конкретными переживаниями-событиями, в ряде случаев приобретало форму множественного числа *comforts* (ср.-англ. *comfortes*). Ср. фрагмент опубликованного в 1493 г. аскетического сочинения «Поучение чад Божиих» (*The chastising of goddes chyldern*):

(7) In this likynge god sendeth in to the herte soo grete sauours confortes. by gyftes of gladnes. that it thinketh for the tyme he is fullid wyth gyftes of gostly comfort. — Таким образом Бог посылает в сердце такие обильные сладостные утешения дарами радости, что [человек] некоторое время полагает, что наполнен дарами духовного утешения (*The chastising of goddes chyldern*, Wynkyn de Worde, 1493 [Early English Books Online]).

Формы *comfort* — *comforts*, совместно употребляемые в примере (7) в пределах одного предложения, не тождественны. Сочетание *gostly comfort* («духовное утешение») указывает на радостное состояние души и на его причину — благодать Святого Духа. Конструкция *grete comfortes* отсылает к дискретным событиям-переживаниям. Определение *sauours* — прилагательное с конкретно-материальным, иносказательно интерпретированным значением («сладостный», *sāvōur* п. «сладость; удовольствие», ср. совр. англ. *savour*) — указывает на сближение духовного и телесного, нематериального и физического.

Причинно-следственная зависимость между состоянием радости-утешения и Божественной благодатью как его источником могла становиться основой для образного переосмысления лексемы *comfort*. В среднеанглийских текстах метафорические и метонимические иносказания подобного рода передают предельно высокое ценностное содержание, как в следующих молитвенных обращениях к Матери Божией:

(8) Queen of comfort... To whom I seeche for my medicine. — Царице утешения... к которой прибегаю в поисках исцеления (Chaucer ABC (Benson-Robinson) 77, c1450 (c1370)).

(9) Benigne confort of vs wrecches alle! — Милостивое утешение всех нас, несчастных! (Hoccl.MG (Hnt HM 111), (?a1430)).

С максимальной полнотой аксиологический потенциал основы *comfort*- раскрывается в производном слове *Comforter* («Утешитель»), которое с середины XIV в. выступает в качестве аналога латинского слова *paracletus*. Восходящее к новозаветному греческому существительному *παράκλητος* («ходатай, защитник, утешитель»), оно является именем Третьего Лица Святой Троицы — Святого Духа:

(10) By soþefast & onelich sone, And þe holy gost, confortour. — Твой истинный и едиnorodный Сын, и Святой Дух, Утешитель (MPPsalter (Add 17376) p.192, c1350).

Метонимически актуализируя своей внутренней формой Божественные действия, имя *Comforter* воссоздает образ Бога, промыслительно заботящегося о Своем творении:

(11) Be Holy Goost is clepid Paraclitus, þat is coumfortour, for ofte he voucheþsaaf to coumforte a sorowful soule. — Святой Дух именуется Параклитом, то есть Утешителем, ибо часто Он соизволяет утешать скорбящую душу (Benj.Minor (Hrl 674) 20/5, a1425(?a1400)).

В качестве катафатического Божественного имени, указывающего на неименоваемого и непостижимого в Своей сущности Творца вселенной, слово *Comforter* представлено в средне- и ранненовоанглийских переводах Священного Писания — в переводе Дж. Уиклифа (1320—1384), создававшемся с опорой на латинскую Вульгату св. Иеронима Стридонского, в переводе У. Тиндейла (1494—1536), датируемом 1525 г. (пример (13)), в тексте Библии короля Иакова (1611), ставшем для англиканской церкви каноническим (пример (14)):

(12) The fadir.schal 3yue to 3ou another coumfortour, the spirit of treuthe. — Отец подаст вам иного Утешителя, Духа истины (WBible(1) (Dc 369(2))John 14.16, (c1384)).

(13) I will praye the father and he shall geve you a nother comfoter yt he maye byde with you ever which is the sprete of truthe. — Умолю Отца и подаст вам иного Утешителя, который пребудет с вами во век, Духа Истины (William Tyndale Bible, John 14: 16—18, 1534 [Tyndale 2024]).

(14) And I will pray the Father, and hee shall giue you another Comforter, that he may abide with you for euer, Euen the Spirit of trueth. — Умолю Отца и подаст вам иного Утешителя, который пребудет с вами во век, Духа Истины (King James Bible, 1611, John 14: 16—18 [King James' Bible 2024]).

Имя *Comforter* отмечено во многих прецедентных для английской культуры Нового времени текстах, в частности в изданной в 1662 г. «Книге общественного богослужения» (*Book of*

Common Prayer) — основной богослужебной книге Англиканской церкви, сохраняющей официальный статус до настоящего времени. Ср.:

(15) Strengthen them, we beseech thee, O Lord, with the Holy Ghost the Comforter, and daily increase in them thy manifold gifts of grace. — Укрепи их, молим Тя, Господи, Духом Святым Утешителем, и умножай в них на всякий день множество даров милости Твоея (The Order of Confirmation; The Book of Common Prayer, 1662 [The Book of Prayer 2024]).

1.1.2. «Овеществление» идеала:

материальные смыслы слова comfort в текстах XIV–XVII вв.

С момента вхождения слова *comfort* в английский язык его семантика в значительной степени обусловлена контекстом и ситуацией речи. Вектор развития ценностных смыслов, присущих слову, не всегда соотносился с Абсолютной ценностью. Значение «радость-утешение» могло преломляться как «удовольствие»¹, и в этом случае оценочная модальность ближайшего контекста слова *comfort* менялась. Ср. различные контексты функционирования слова *comfort* в произведениях середины XIII в.:

(16) For se muchel confort is in his grace. — Ибо много радости в милости Его (Hali Meidenhad, HMaid. (Bod 34) 8/73, c1225(?c1200)).

(17) На hauer..cunfort on eorþe, þet is fikel and fals. — Имеет он наслаждение на земле, [наслаждение] обманчивое и ложное (Orison Lord (Lamb 487) 185, a1250).

¹ Значение «укрепление, поддержка, помощь», исходное с точки зрения исторического формирования семантической структуры слова, сохраняется у леммы *comfort* до середины XVII в., после чего его актуализации встречаются только в редких идиоматических сочетаниях юридической сферы (напр., *aid and comfort* — «помощь и поддержка (часто преступнику)»), ср.: The *comfort* that the rebels should receiue vnderhand from the Earle of Kildar. — Поддержка, которую мятежники тайно получают от графа Килдэра (Bacon. *Hen. VII* 1622).

Очевидная разница контекстуально индуцируемых коннотаций лексемы *comfort* объясняется отношением говорящего к тому, что воспринимается как источник радости. В контексте (16) радость (*confort*) сопричастна благам вечным (*his grace*) и оценивается безусловно положительно. В примере (17) наслаждение (*sunfort*) соотносится с непостоянством земного, кратковременного бытия (*on eorþe*) и отвергается говорящим как иллюзорное (*fikel and fals*). Оценочная амбивалентность слова отражает дихотомию «высокое — низкое», в которой «все добродетельные чувства устремляются к благочестивому и аскетическому», тогда как «чувственные влечения... снижаются до уровня мирского, почитаемого греховным» [Хейзинга 2011: 304].

Отрицательная оценка внешних, недуховных источников утешения остается доминирующей до второй половины XV в. Ср. характерные примеры:

(18) You shalt be joyfull & gladde that euer thou forsoke the fals confortes of the worlde. — Радоваться будешь и веселиться, как только откажешься от ложных утешений мира (Love N. Bonaventure, Saint, Cardinal, 1410 [Love 2024]).

(19) Al maner pouertees sente fro god to reserue the herte from vaune and worldly confortes. — Всевозможные неудобства и нужды посылаются от Бога, чтобы удержать сердце от пустых и мирских утешений (Peter, of Blois, The profytes of trybulacyon, 1499 [Early English Books Online]).

В приведенных высказываниях сочетания *worldly confortes* / *comforts of the worlde* сопровождаются эпитетами *fals* («обманчивый»), *vaune* («пустой»), которые соотносят «утешения» (*comforts*), черпаемые из видимого физического мира, с полюсом «низкое». Противоположным полюсом — «высокое» — предстает мир непреходящей радости духовной (*joyfull & gladde* в примере (18)).

Число употреблений лексемы *comfort* вне контекста идеальной, метафизической действительности увеличивается в текстах XIV — начала XV в. Значения «радость», «удовольствие»

регулярно соотносятся с земным, временным миром, конкретным и наблюдаемым. Оценочная модальность подобных высказываний, как правило, нейтральная:

(20) *Bys Florens hadde cumforte and game At hys bere..And loued hyt moche.* — Флоренс возрадовался [букв.: имел радость и веселье] при его рождении... И сильно любил его (Mannynge HS (Hrl 1701) 4067, a1400(c1303)).

(21) *Sum..has comforth to carpe..Of curtaissy of knyzthode.* — Некоторым [доставляет] удовольствие говорить об учтивости рыцарства (Wars Alex.(Ashm 44) 8, c1450(?a1400)).

(22) *To haue counfort and ioye of mannes felishep.* — букв.: Иметь радость и веселье от дружбы (Merlin (Cmb Ff.3.11)7, a1500 (?c1450)).

Использование слова *comfort* в обыденно-бытовом контексте, как в примере (23), приводит к его частичной десемантизации и делает возможным его иронически-сниженное использование (пример (24)):

(23) *Confort ne myrthe is noon, To gyde by the weye domb as a stoon.* — букв.: Нет в том ни удовольствия, ни веселья, [чтобы] путешествовать молчаливым как камень (Chaucer CT.Prol. (Manly-Rickert) A.773, c1387-95).

(24) *Be raven..croukez for comfort, when carayne he fyndez.* — Ворон каркает от удовольствия, когда найдет падаль (Cleanness (Nero A.10), 459, c1400(?c1380)).

Одновременно с десакрализацией понятия «утешение» начинается процесс формирования предметного значения именуемой его лексемы. В последней четверти XIV в. наряду с обобщенными, абстрактными значениями радости и удовольствия слово *comfort* впервые приобретает конкретно-вещественное значение — «пища, питание». Основанием для переноса выступает метонимический сдвиг по модели «утешение, подкрепление [следствие] → вещь, приносящая утешение, подкрепление [причина]». В этом значении слово *comfort* синонимизиру-

ется с заимствованным в XIV в. французским субстантивом *sustenance*, специализированным в вещественном значении «пища, питание», ср. пример (27):

(25) On a walnut... is a bitter barke, And after þat bitterbarke... Is a kimelle of conforte kynd to restore. — На грецком орехе горькая кожура, и под этой горькой кожурой — ядро подкрепления, способствующее восстановлению [сил] (Langl. *P. Pl.* В. xi. 253, 1377).

(26) Caule... is a grete comford to þe stomake. — Капуста — хорошее питание [букв.: подкрепление] для желудка (Lelamour *Macer* (Sln 5)15a, 1373 г. (1465)).

(27) The wyne..of the fourthe tonne..is to feble, and with out sustentacion or conforte. — Вино из четвертого бочонка [предназначено] для немощных, не имеющих пищи или питания [букв.: подкрепления] (GRom. (Add 9066) 338, a1500 (?a1450)).

Узкое, конкретизированное значение питания, пищи к концу XVI в. устаревает, но возможность использования лексемы *comfort* применительно к предметам материального мира сохраняется. Денотативное пространство слова *comfort* в его субстанциональном понимании на протяжении последующих столетий постоянно расширяется, что может служить косвенным указанием на изменяющиеся ценностные установки языкового социума. Характерные для Высокого Средневековья «религиозное напряжение, действенная трансценденция» к концу XIV в. наблюдаются значительно реже, и предметы, ранее пробуждавшие религиозное созерцание, не вызывают прежнего отклика. Социально-политические и экономические события XIV столетия — Великий голод 1315—1317 гг., моровое поветрие 1348—1349 гг., крестьянские восстания последней четверти века, Столетняя война с Францией, обмирщение католической Церкви — приводят к ослаблению авторитета духовенства и усилению индивидуалистического мировоззрения.

Предреформация второй половины XIV в., выразителями идей которой в Англии становятся Дж. Уиклиф и его последователи, отражает усиливающиеся тенденции к десакрализации культурного пространства. Более четкие очертания приобрета-

ет наметившееся еще в XIII в. «глубинное изменение основной совокупности ценностных ориентаций в западном обществе» [Ле Гофф 1991: 28]. Мирское находит себе место рядом с сакральным, постепенно вытесняя его. Зарождается новая система ценностей, покоящаяся на земных основаниях и в религии, и в этике, и в политике [Там же: 42]. Усиливается внимание к временному, эфемерному и мимолетному, более высокую оценку приобретает все земное. В документах XV в. словоформа *comforts* все чаще указывает на внешнее, видимое довольство. Процесс «размывания» некогда высокого чувства — духовного утешения — вызывает у современников тревогу, что отражает, в частности, функционирование слова *comfort* в религиозном дискурсе. В текстах конца XV в. оно регулярно формирует антитезы с антонимическими определениями *worldly* («мирское»), *erthely* («земное»), *temporal* («временное») vs. *heavenly* («небесный»), *ghostly* / *spiritually* («духовный»). Ср.:

(28) They that ar here wyfully poure frō worldely welthes and confortes and honger and desyre goddes grace and heuenly confortes theyre desyre shall be fulfilled. But they that haue here rychesse of worldely prosperyte and take theyr ioye and comfote therin and seke after none other they shall be lefte voyde from all goodes temporall and euerlastyng. — Те, кто добровольно лишают себя мирских богатств и утешений и алчут и жаждут милости Божией и небесных утешений, тех желание будет исполнено. Но те, кто здесь имеют богатства мирского достатка и их них черпают свою радость и утешение и ничего иного не ищут, те останутся лишены всех благ временных и вечных (Gascoigne Th. [1404—1458]. The myrgoure of Oure Lady very necessary for all relygyous persones, 1530 [Early English Books Online]).

В первом предложении примера (28) контекстуальным индикатором для словоформы *comforts* в сочетании с определением *heavenly* выступает абстрактная лексема *grace* («милость»), высвечивающая исходный, высокий смысл слова — «утешение, радость». Значение субстантива в конструкции *worldely comforts* раскрывается через его синонимизацию с предшествующим однородным дополнением *welthes* («богатства»). Повтор

прилагательного *wordely* во втором предложении формирует синонимический ряд *welthes — comfortes — prosperyte*. Подобное сближение позволяет заключить, что к концу первой трети XVI в. за словоформой *comfortes* уже успели закрепиться устойчивые ассоциации с материальными благами. Излишняя привязанность к последним (*take theyr ioye and comferte therin*) продолжает, как и в предшествующие столетия, порицаться.

Изменение эталонной ценности, с которой соотносятся представления об утешении, радости или удовольствии, вызывает смещения в семантической структуре не только слова *comfort*, но и других элементов словообразовательного гнезда, в частности прилагательного *comfortable*. Исходное значение этого возникающего во второй половине XIV в. слова — «оказывающий духовную поддержку; назидательный», отраженное в примерах (29) и (30), на рубеже XIV—XV вв. вытесняется эмоционально-психологическим — «приятный», ср. пример (31):

(29): It is profetabil and comfortabil that men be wonand in anhed of halikyurke, with charite and trouth. — Полезно и назидательно человеку жить в единстве со Святой Церковью, в [делах] милосердия и правды (Rolle Psalter (UC 64) 132.1 com, a1500(c1340)).

(30) Contricioun is comfortable þinge..and a solace to þe sowle. — Покаяние — укрепляющий (назидательный) поступок и утешение душе (PPI.B (LdMisc 581)14.281, c1400(c1378)).

(31) Flouris a-mong the grasis grene..That lusty been & comfortabill for mannys sizte. — Цветы среди травы зеленой, яркие и приятные на вид (c1460(?c1400) Beryn (Nthld 55)).

В XV в. трансформация значения прилагательного *comfortable* продолжается в направлении конкретизации. Описываемое им свойство «приятный» соотносится не только с эмоциональными состояниями, как было ранее, но и с физическими ощущениями, вызываемыми внешними условиями. В этом смещенном значении прилагательное *comfortable* сочетается с именами явлений природы, инфинитивами глаголов конкретного действия, отглагольными существительными. Ср.:

(32) Now is the se calm..Now ar the wyndis comfortable & still. — Теперь море затихло. Теперь ветры приятные и спокойные (Lydg. FP (Bod 263) 6.170, ?a1439).

(33) Be-cause the water..Ys lewk..yt ys..to bathys mor comfortable. — Поскольку вода теплая, купаться приятнее (Lydg.Pilgr. (Vit C.13)21908, a1475(?a1430)).

В XVI в. интенсивное расширение субстантивной валентности прилагательного *comfortable* вовлекает в круг его коллокатов существительные самых разных семантических групп. Наиболее частотны абстрактные имена — *comfortable hope* («ободряющая надежда»), имена бытийные — *comfortable life, living* («радостная жизнь»), существительные речевой деятельности — *comfortable speech* («утешительная речь»), имена природных явлений — *comfortable weather* («приятная погода»), *climate* («благоприятный климат»), *warmth* («приятное тепло»), отглагольные имена действия — *comfortable sleep* («спокойный сон»), *rest* («мирный отдых»), предметные имена — *comfortable clothes* («подходящие одежды»). Ср.:

(34) They came vnto her and saluted her, and caused her to be apparelled with wholesome and comfortable clothes. — Они подошли и приветствовали ее, и одели ее в дорогие и подходящие одежды (Twyne T. The patterne of painefull aduentures, 1594¹).

1.1.3. Comfort как имя ценности культуры: XVII–XIX вв.

На рубеже XVI—XVII вв., после окончательного утверждения протестантизма в качестве государственной религии Англии, начинает меняться оценочное отношение к мирским «утешениям», собирательно именуемым словоформой *comforts*. Еще раньше, в XVI в., христианская духовность, открыто не отрицаемая, подвергается секуляризации. Культура остается христианской, но религия перестает быть универсальной идеальной системой духовной жизни [Баткин 1991: 32]. Центром ценностных отношений становится человек. Он воспринимается иначе,

¹ Примеры, датируемые 1499—1699 гг., здесь и далее приводятся по: [Early English Books Online 2024].

чем в Средневековье: не как существо, чьи ум, чувства и воля повреждены грехом, но как совершенство мироздания. Предаётся забвению пронизывающий средневековое христианство «культ духовного смирения и телесного страдания, нищеты, отрешения от земных радостей... обнаружения духовной силы в физической немощи» [Гуревич 2007: 222]. Иерархическое упорядочивание бытия по вертикали «небесное — земное», где телесное подчинено духовному, а временное — вечному, уступает место горизонтальному образу, утверждающему автономную самооценку видимого, эмпирически познаваемого мира.

В протестантизме внешняя деятельность, направленная на увеличение материальных благ, впервые получает отчетливо положительную религиозную оценку. В Средневековье рукотворный мирской труд как необходимая и естественная основа жизни представлялся нравственно индифферентным, подобно пище или одежде. В протестантизме рациональный труд и его результат — материальное благополучие — приобретают религиозное значение как единственно возможная для человека богоугодная деятельность. В получающем широкое распространение в Англии XVI—XVII вв. пуританизме, с характерным для него детерминизмом, достаток, приобретенный рациональным буржуазным предпринимательством, начинает восприниматься как знак избранности человека Богом. Осуждение роскоши, отвержение непосредственного наслаждения богатством сопровождается в пуританизме утверждением «мирской аскезы», требующей от «богатых людей не умерщвления плоти, а такого употребления богатства, которое служило бы необходимым и практически полезным целям...» [Вебер 2006: 121]. При этом нивелируются традиционные этические установки, ограничивающие стремление к наживе, что превращает «рациональное приобретение» не только «в законное, но в удобное Богу... занятие» [Там же].

Кардинальные ценностные сдвиги приходятся на период интенсивного развития промышленного производства. В 1540—1640 гг. рост крупных мануфактур, увеличение численности работников, объемы капиталовложений меняют все сферы жизни — экономику, политику, общественное мнение, и все социальные слои. Рост внутреннего рынка, обусловленный силь-

ным демографическим подъемом XVI в., сопровождается ростом доходов от сельского хозяйства, которое многих крестьян превращает в потребителей промышленных изделий, вызывая волну так называемой великой перестройки (Great Rebuilding). В XVII в. начинается «возвышение фермера, настоящего предпринимателя», не отличающегося в быту от городской буржуазии и «пользующегося обилием всех жизненных удобств» [Бродель 1992: 570—580].

Трансформация сферы идеального, утрачивающей связь с категорией «вечность» и замыкающейся на области земного, временного мира, находит свое отражение в функционировании лексемы *comfort*. На рубеже XVI—XVII вв. форма множественного числа *comfort(e)s* становится собирательным именем вещественных, материальных благ — «этически дозволенных способов пользования своим имуществом» [Вебер 2006: 121]. Ср.:

(35) The lord hath blessed you with many worldly comforts, with an honorable estate & good account in the worlde, so hath hee indued you with graces of his spirit inwardlie, with true Pietie. — Как Господь благословил Вас многими мирскими благами, достойным состоянием и добрым именем, так наделил Он Вас невидимыми милостями Своего Духа, подлинным благочестием (Rollock R., Charteris H. Fiue and twentie lectures, vpon the last sermon and conference of our Lord Iesus Christ, 1619).

В приведенном высказывании сочетание *worldly comforts* входит в группу сказуемого *hath blessed* («благословил») и является первым из трех однородных дополнений, указывающих на значимые для протестантского мировосприятия признаки благоволения Божия — вещественные блага (*with many worldly comforts*), денежное богатство (*with an honorable estae*), статус в обществе (*good account in the worlde*). Количественное местоимение *many* («многие»), традиционно сочетающееся с исчисляемыми конкретными именами существительными, подчеркивает дискретность денотатов словоформы *comforts*. Предикат *hath blessed* («благословил») индуцирует в сочетании *worldly comforts* исключительно положительные оценочные ас-

социации, усиливаемые ближайшими определениями *honorable* («достойный»), *good* («добрый»). Устраняется антитеза «высокое» — «низкое», структурировавшая отношение к временным благам и вечному бытию (см. пример (28) выше), более того, сам Творец — безусловное и абсолютное Благо — предстает подателем того, что именуется «утешениями мира» (*the lord hath blessed you with many worldly comforts*).

Оформление денотативного поля словоформы *comforts* в значении «материальные блага» сопровождается расширением ее адъективной сочетаемости. Наряду с уже существующими выражениями *earthly / outward / worldly comforts* возникают конструкции с уточняющими определениями *daily* («повседневные», 1609), *bodily* ~ («телесные», 1608; ср. *of body*, 1618), *visible* ~ («видимые», 1616), *domestic* ~ («домашние», 1626), *civil* («общественные», 1635), *sensual* ~ («чувственные», 1655). Ср.:

(36) Thou wantest comforts of body, house, land, meat, money; he had not a foot of land, not a house to hide his head in... not a cup of cold water till he had requested it of the Samaritan. — Ты хочешь утешений плоти, дом, землю, пищу, деньги; у Него не было ни пяди земли, ни дома, где преклонить главу, ни чаши воды, пока Он не испросил ее у самаритянки (Taylor T. *Christs combate and conquest*, 1618).

(37) ...meat and medicine for their hunger and sicknesses, cloaths for their nakednesse, with other necessary comforts. — ...пища и лекарство для [утоления] голода и [врачевания] болезни, одежда для [покрытия] наготы, и иные необходимые утешения (Freake W. *Ezras pulpit*, 1639).

(38) If we must thank god for daily-bread, for houses, health, estates, worldly comforts and accommodations for our bodies, how much more should we thank god for heaven. — Если мы должны благодарить Бога за насущный хлеб, за дома, здоровье, имения, мирские блага и удобства для наших тел, насколько более должны мы благодарить Бога за небо (Heywood O. *Meetness for heaven promoted in some brief meditations*, 1679).

В приведенных высказываниях экстенционал словоформы *comforts* распространяется на основные элементы жизнеобеспеч-

чения — естественные условия, которые необходимы для сохранения жизни. Значение сочетаний *comforts of body / necessary comforts* раскрывается в примерах (34), (35) дополнениями в препозиции: *house, land, meat, money* («[ты хочешь] дом, землю, пищу, деньги»), *meat and medicine, cloaths* («пища и лекарство», «одежда»). В (38) сочетание *worldly comforts* синонимизируется с однородными дополнениями широкого семантического спектра — *daily-bread* («насущенный хлеб»), *houses* («дома»), *health* («здоровье»), *estates* («состояние»), *accommodations for our bodies* («одежда»).

Для ословливания новых идеалов мирской этики в текстах первой половины XVII в. возникают многочисленные адъективные сочетания, подчеркивающие разумность умеренного довольства как противоположного крайностям — бедности и роскоши, напр. *sensible comforts* («разумные», 1612), *lawful* («законные», 1612), *natural* ~ («естественные», 1613), *ordinary* («обычные», 1621), *rational* ~ («разумные», 1650), *convenient* ~ («подходящие», 1656). Ср.:

(39) The lawfull comforts of nature, such as meat, and drinke, and recreation... — Законные блага (утешения) природы, такие как пища, и питье, и отдых... (Cowper W. A holy alphabet for Sion's scholars full of spiritual instructions..., 1613).

(40) We do not use to make laws which are for the preservation of nature, that a man should eat, and drink, and buy himself cloaths, and enjoy other natural comforts. — Мы не издавали законы, которые поддерживали бы естественный ход вещей — то, что человеку свойственно есть, и пить, и покупать одежду, и пользоваться другими естественными утешениями (Cook J. King Charls, his case, 1649).

(41) If such a one... will not allow him sufficient cloaths, victuals... or use him so cruelly for no just cause, that he can not enjoy the ordinary comforts of life... — Если такой человек не даст ему [своему рабу] довольно одежды, пищи... или будет жестоко относиться к нему безо всякой причины, так, что он не сможет пользоваться обычными утешениями жизни... (Tytrell J. Bibliotheca politica, 1694).

Результатом широкого использования адъективных сочетаний становится лексикализация словоформы *comforts* в обобщенно-вещественном значении. Сопровождающаяся эллипсисом и семантической конденсацией, лексикализация приводит к сужению экстенционала и конкретизации значения словоформы *comforts*, которая оказывается способна самостоятельно, без поддержки ближайшего контекстуального слова-индикатора, указывать на широкий круг материальных благ. Начиная с 1630-х гг. это значение становится основным и реализуется лексемой самостоятельно, вне уточняющего контекста. Ср.:

(42) Here we may want comforts, we may be thrust out of house & home, out of our habitation, and country. — Здесь можем мы испытывать нужду в благах [утешениях], нас могут лишить дома, выгнать из жилища, и страны (Sibbes R. Light from heaven discovering the fountaine opened, 1638).

В примере (40) общий контекст предложения — лексемы *provide for* («заботиться»), *poor* («бедный»), *house* («дом»), *habitation* («жилище») — служит для логического развертывания узуального значения словоформы *comforts*, понятного адресату. Таким образом, из двух смысловых полюсов оппозиции, с которыми ранее, в текстах XV в., могла соотноситься словоформа *comforts* — «земное» vs «небесное», немаркированным, подразумеваемым, выбираемым «по умолчанию», оказывается полюс «земное». Идея вечности вытесняется на периферию.

Изменение значения сопровождается расширением глагольной сочетаемости словоформы *comforts*: в число ее коллокатов входят лексемы, традиционно закрепленные за вещными, материальными именами, напр. *to use / make use of* («пользоваться»), *to abuse* («злоупотреблять»), *to take* («брать»), *to enjoy* («наслаждаться»), *to distribute* («распределять»):

(43) This grace of faith... in prosperity it teacheth us how to use comforts, in adversity how to want them. — Благодать веры... во [время] процветания учит нас, как использовать блага, в испытаниях — как желать их (Hardy N. Faiths victory over natvre, 1648).

(44) Men... that are in the greatest prosperitie, that enjoy comforts, and brave lives, and have the world at will. — Люди, обладающие огромным богатством и наслаждающиеся благами, и жизнью, и имеющие весь мир к своим услугам (Burroughs J. The eighth book of Mr Jeremiah Burroughs, 1654).

Узуализация словоформы *comforts* в значении материально-бытовых благ находит свое отражение в лексикографических источниках последней трети XVII в., в частности в «Новом англо-французском словаре», изданном в Лондоне в 1677 г. французским автором Ги Мьежем (Guy Miège):

(45) The *comforts of this life*, les biens (les plaisirs, les douceurs) de la vie. — Утешения этой жизни, блага (удовольствия, сладости) жизни (Miège G. A new dictionary, French and English s. v., 1677 [Oxford English Dictionary 2023]).

В качестве иллюстрации предметно-вещного значения лексемы *comforts* автор приводит французское сочетание *les biens (les plaisirs, les douceurs) de la vie* — букв. «блага (удовольствия, сладости) жизни». Уточняющий контекст — темпорально-бытийное сочетание *this life*, имплицитно указывающий в английском варианте ценностную антитезу «эта [земная] жизнь» vs «та [небесная] жизнь» и ограничивающий значимость обозначаемых словом *comfort* явлений пространством земного, физического бытия, во французском аналоге опускается.

В XVIII в. дифференциация синонимов в рамках триады *necessaries* («предметы первой необходимости») — *comforts* («блага, удобства») — *luxuries* («предметы роскоши») закрепляет за словом *comforts* центральную, умеренную позицию. Ср.:

(46) Very moderate in his estimate of *the necessaries*, and even of *the comforts of life*. — Он очень скромен в оценке того, что можно назвать предметами первой необходимости и даже *благами жизни* (Smollett T. Humphry Clinker. Let. 8, Oct., 1771 [Там же]);

(47) A modern Englishman... finds in his shooting box all the *comforts* and *luxuries* of his club. — Современный англичанин об-

наружит в своем охотничьем домике все *удобства и предметы роскоши* своего клуба (Macaulay T. V. *History of England*, xiii. III. 300, 1855 [Там же]).

В XVIII—XIX вв. развитие значения слова *comfort* и его производных несет на себе отпечаток продолжающегося процесса «материализации сознания», охватывающего вследствие «развития революции услуг» [Бродель 1992: 618] и «всеобщего экономического ускорения» [Бродель 1993: 31] всё более широкие слои населения. В XVIII столетии, в период возросшего торгового обмена и потребления Англия становится ведущей промышленной страной Европы. После государственного переворота 1688 г. управление страной осуществляется в интересах и нередко по прямым указаниям крупных промышленных дельцов, торговцев и финансистов. Во второй половине XVIII в. Лондон приобретает статус экономического центра Европы, превращаясь более чем на столетие в «экономическую столицу мира», где «под солнцем истории» соединяются «блеск, богатство, радость жизни» [Там же: 95]. На рубеже XVIII—XIX вв. промышленная (машинная) революция становится первым опытом массового производства, которое принимает «форму фантастического роста национальной экономики» [Там же: 114]. Экономический рост сопровождается расширением потребления, которое требует «не “мирского аскетизма”, а... противоположного устройства — гедонизма, стремления получать наслаждение в том числе и от вещей» [Сомин 2009: 25].

Метафизическая трактовка бытия сменяется сенсуалистической. Религиозное начало все более вытесняется рациональными, материально-прагматическими представлениями. «Устранение трансцендентного Бога» открывает путь «к углублению процесса секуляризации» [Гайденко 2006: 295]. Эпоха Просвещения, провозглашающая своим ориентиром утопию «природного» состояния общества, не знающего неравенства, бедности или пороков, в качестве идеала выдвигает абстрактного «естественного» человека, достигшего гармонии страстей и разума. В умозрительной философии XVIII в. единственной целью человеческой жизни становится счастье как совершенная свобода от физических и душевных страданий.

На языковом уровне мировоззренческие трансформации отражаются, в частности, в развитии новых, смещенных значений у прилагательного *comfortable*. В текстах середины XVIII в. оно начинает соотноситься с представлением о полноте внешнего удобства, уюта, что можно наблюдать в примерах (48)—(50), и с идеалом безмятежного душевного довольства (51):

(48) ...Hold forth thy tempting rewards; thy shining, chinking heap; thy quickly convertible bank-bill, big with unseen riches... the warm, the comfortable house. — Не лиши меня только заманчивых твоих даров, блестящих звонких монет и легко размениваемых банковых билетов, таящих в себе невидимые богатства, не лиши... теплого уютного домика (Fielding H. *History of Tom Jones*, 1749 [Fielding 2024], пер. А. А. Франковского).

(49) It is a very good nobleman's house, handsomely furnished and well kept, very comfortable to inhabit. — Это очень хороший дворянский дом, красиво обставленный и ухоженный, очень удобный для проживания (Gray Th. *Letter to Mr. Beattie*, 1765 [Gray 2024]).

(50) We are almost freezing here in the midst of beautiful verdure... but I keep good fires, and seem to feel warm weather while I look through the window; for the way to ensure summer in England, is to have it framed and glazed in a comfortable room. — Мы почти замерзаем здесь среди прекрасной зелени... но у меня отличное отопление, и я научился представлять себе теплую погоду, глядя из окна, поскольку единственный способ обеспечить себе лето в Англии — это смотреть на него через оконную раму из уютной комнаты (Walpole H. *Letter 67 to The Rev. Mr. Cole, Strawberry Hill*, May 28, 1774 [Walpole 2024]).

(51) Mrs. White... has given me a good fire and some excellent coffee and bread and butter, and I am as comfortable as possible, except in having missed you. — Миссис Уайт разместила меня перед хорошим камином, угостила отличным кофе и хлебом с маслом, и я испытываю наибольшую степень довольства, если не упоминать о том, что не застал тебя дома (Walpole H. *Letter to G. Montagu 1 July*, 1770 [Walpole 2024]).

В сочетаниях с именами жилых помещений — *house* (примеры (48), (49)), *room* (50) — определение *comfortable* выражает метонимическое значение «обеспечивающий безмятежное наслаждение и довольство». Элементы ближайшего контекста — *warm* (48), *handsomely furnished and well kept* (49), *good fires* (50) — актуализируют идеи тепла, удобства, чистоты, изящества. В позиции именного сказуемого в примере (51) прилагательное *comfortable* передает значение «находящийся в состоянии умиротворенного довольства; не испытывающий боли или беспокойства». Контекст и ситуация речи, указывающие в (51) на внешние, бытовые условия (*good fire, excellent coffee and bread and butter*), позволяют заключить, что состояние ненарушимого довольства души является следствием удовлетворенности всех потребностей тела.

На рубеже XVIII—XIX вв. обобщение свойств, описываемых прилагательным *comfortable*, приводит к возникновению у субстантива *comfort* абстрактного значения «состояние физического и материального благополучия, отсутствия боли и волнений, удовлетворения телесных нужд». Ср.:

(52) We could not pass this humble dwelling, so distinguished by an appearance of comfort and neatness, without some conjectures respecting the character and manner of life of the person inhabiting it. Leisure he must have had; and we pleased ourselves with thinking that some self-taught mind might there have been nourished by knowledge gathered from books, and the simple duties and pleasures of rural life. — Мы не могли пройти мимо этого скромного жилища, столь отличавшегося внешним видом уюта и опрятности, без некоторых догадок относительно характера и образа жизни человека, жившего в нем. Должно быть, у него был досуг; и мы тешили себя мыслью, что какой-нибудь ум-самоучка мог питаться знаниями, полученными из книг, а также простыми обязанностями и удовольствиями сельской жизни (Wordsworth D. *Recollections of a Tour made in Scotland*, 6th September [Wordsworth 2024]).

В приведенном фрагменте дневника Д. Уордсворт существительное *comfort*, описывая наряду со словом *neatness* («опрятность») внешний вид жилища (*humble dwelling*), не ограничи-

ваются только видимыми характеристиками, но соотносятся с представлениями обо всем течении сельской жизни — об удовольствии как ее внутреннем устройении (*pleasures of rural life*) и досуге как деятельностном наполнении (*leisure*). Свойство удобства, ранее не отделявшееся от предметов (*comfortable house, room* и пр.), приобретает гносеологическую самостоятельность, превращаясь в автономную, дискретную сущность.

В первой половине XIX в. слово *comfort* входит во многие европейские языки, становясь именем нового культурно-специфического явления и заполняя понятийную и лингвистическую лакуны (о русском языке см. параграф 2 настоящей главы). В текстах XIX в. смысловое поле лексемы *comfort* замыкается на материально-телесных смыслах и производных от них психологических со-значениях. О преобладании предметно-вещественных смыслов свидетельствуют, в частности, метонимические значения, развивающиеся в первой половине XIX в. у производного существительного *comforter*: (а) «шерстяное кашне, шерстяной шарф» (англ. «a long woolen scarf worn round the throat as a protection from cold», 1823); (б) «стёганое одело» («a plaid blanket», 1837) [Oxford English Dictionary 2023]. Исходные высокие смыслы «радость», «духовное утешение», хотя и не исчезают полностью, оказываются вытеснены на далекую периферию языковой картины мира носителей английского языка, будучи ограничены текстами религиозного дискурса.

В настоящее время слово *comfort* реализует смежные психофизиологические значения: (а) «чувство отсутствия беспокойства»; (б) «состояние нестесненного удобства и отсутствия боли». Субстантивные конструкции, формирующие лексический профиль слова в 14-миллиардном корпусе iWeb, аккумулировавшем интернет-данные за 2017 г. [Web Corpus 2024], представлены коллокатами, которые указывают, с одной стороны, на психологические феномены (чувства, состояния, оценки), с другой — на вызывающие эти чувства и состояния предметы. Это слова, обозначающие (а) личное пространство, ограниченное масштабами индивидуального «я» (напр., *comfort zone*); (б) дом (*comforts of home, comfort of your room*); (в) предметы мебели, одежды и быта (*comfort of your couch, sofa, seat, shoe, bed*); (г) пищу (*comfort food*); высокое качество предмета и удоб-

ство его эксплуатации (*comfort and convenience, performance, durability, ease*), а также на внутреннее состояние безопасности и покоя (*comfort and safety, protection, warmth, stability, security, peace, relaxation*). Среди адъективных коллокатов преобладают оценочные прагматические прилагательные, объединенные значением «исключительный», «превосходящий [остальные образцы] по качеству», напр. *maximum, ultimate, extra, added, superior, increased, exceptional, improved, enhanced, luxurious*. Глагольные сочетания включают коллокаты, которые имплицитно уподобляют удобство (*comfort*) продукту или услуге — предоставляемой (напр., *provide, offer, ensure, improve comfort*) или потребляемой (напр., *enjoy, maximize comfort*).

Тематический контекст функционирования лексемы *comfort*, формируемый совместно употребляемыми словами (*co-occurrences*), замыкается на предметах и явлениях повседневного существования, ср.: глаголы *wear, fit, design, sleep, ride*; существительные *seat, shoe, style, leather, bed, room, chair, bike, hotel, air*; прилагательные *soft, adjustable, perfect, warm, stylish*. Лексический профиль слова *comfort* свидетельствует о том, что передаваемые им смыслы полностью исчерпываются сферой бытовой действительности. Это «оповседневнивание» некогда высокого чувства радости является, вероятно, одним из наиболее заметных результатов деаксиологизации англоязычной картины мира.

Проведенный анализ позволяет заключить, что слово *comfort*, приобретшее в условиях англо-американского «медийного империализма» [Boyd-Barret 1977] статус глобальной лингвокультуры (термин В. В. Воробьева [Воробьев 1997]), семантически многослойно и несет на себе «отпечатки» изменений, происходивших в аксиосфере носителей английского языка на протяжении более чем восьми веков. Трансформация смысловой структуры слова, начавшаяся в эпоху позднего Средневековья и завершившаяся в XIX в., отражает постепенный процесс изменения ценностных приоритетов носителей английского языка. Обращенность к миру идеальному с его устремленностью к Богу как Абсолютной ценности (*Comforter*) сменяется фокусировкой внимания на психологическом, а затем и физическом довольстве, когда сфера идеального ограничивается узкой сферой материальных благ.

1.2. Деаксиологизация русской языковой картины мира: экспансия комфорта

В исторической жизни русского общества опыт бытия — и в метафизических, и в бытовых своих проявлениях — неразрывно связан с православной верой, которая стала органической религией русского народа и сделала «тяготение к абсолютному» важнейшей чертой русской культуры. Для русского человека, воспринимавшего религию не как «область отвлеченных умствований», а как «существо жизни и бытия» [Карсавин 1924: 139], единственной Абсолютной положительной ценностью была полнота бытия, данная в Боге (ср.: [Лосский 2000: 42, 47, 69]). Все остальные ценности рассматривались как «бытие в его значении для осуществления абсолютной полноты бытия или удаления от нее» [Там же: 61]. Вне идеала, вне отношения к нему ничто для русского человека значением не обладало, и на протяжении столетий он обнаруживал не только «легкую подчиняемость внешним условиям», но и «редкостное равнодушие» к повседневности и к быту [Карсавин 1924: 149].

В русском языке существительное *комфорт* (англ. *comfort* — «житейские удобства, материальное довольство») появляется на рубеже 1820—1830-х гг., в период широкого увлечения дворянства, как столичного, так и провинциального, английским образом жизни. Англофильство, зародившееся в России в правление Екатерины II, проявлялось, по мнению современников, в «предпочтительном и исключительном уважении... всего английского» [Плюшар 1835: 260] и «подражании оному с излишеством» [Селивановский 1825: 736]. Первые фиксации слова представляют собой графически неадаптированные англоязычные вкрапления, именующие специфически английский концепт, в котором понятие о внешнем устройстве быта сочетается с идеями порядка-соразмерности и психологического удобства. Ср.:

(1) Весьма редко вы найдете в домах наших то, что англичане называют многозначимым словом *comfort*. Эта тайна гармонического, соразмерного устройства и распределения всех частей помещения, самых малых статей хозяйства, выгодного соображения

всех потребностей быта с его способами; тайна, доставляющая какое-то ровное, сладкое существование, — нам почти неизвестна (Башуцкий А. П. Панорама Санктпетербурга, 1834).

Представляя собой одно из символических имен новой европейской культуры прогресса, слово *комфорт* воплощает устремления индустриального века — веру в «обещание безграничного прогресса, основанного на освоении природы, создании материального изобилия, максимального благополучия большинства и неограниченной свободы личности» [Фромм 2023: 6—7]. В русской культуре новая «религия прогресса» с характерным для нее «триединством безграничного производства, абсолютной свободы и бесконечного счастья» [Гам же] вызывает в первой половине XIX в. отторжение как несовместимая с представлением о достоинстве человека. Ср. характерное высказывание А. С. Пушкина, в котором явление, обозначаемое лексемой *comfort*, маркируется как антиценность:

(2) С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (*comfort*)... со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие (Пушкин А. С. Джон Теннер, 1836).

Понятие комфорта продолжает связываться с английским, и, шире, заграничным образом жизни на протяжении XIX—XX вв., о чем свидетельствуют ближайший контекст и атрибутивные коллокации слова *comfort* / *комфорт* в Национальном корпусе русского языка — *английский* (год первой фиксации — 1843), *лондонский* (1847), *европейский* (1852), *западноевропейский* (1912), *заграничный* (1915), *американский* (1928):

(3) У *англичан* внешние формы жизни составляют род какого-то фатума, против которого все бессильно. Под этим пламенеющим небом они настроили себе дома на *английский* манер, перетасили сюда весь свой *лондонский comfort* и вместе с ними все свои *английские* предрассудки (Боткин В. П. Письма об Испании, 1847).

Явление комфорта регулярно ассоциируется с изысканным образом жизни состоятельных кругов общества, выступающих образцом для подражания, ср.: *утонченный комфорт* (1847), *модный* (1851), *взыскательный* (1857), *столичный* (1857), *роскошный* (1861), *изящный* (1864). При этом ценностный статус комфорта в иерархии идеалов и устремлений русского человека XIX в. оказывается в целом невысоким, что эксплицирует сдержанная, а порой и отчетливо отрицательная его оценка. Ср.:

(4) Он... окинул глазами комнату, кругом его *отвратительный комфорт*... Быстро подошел к окну... схватил *великолепные* занавесы, рванул изо всех сил, и *бесподобные украшения* упали к его ногам в самом жалком виде (Павлов Н. Ф. Миллион, 1839).

(5) Неужели до сих пор не видишь ты, во сколько раз круг действия в Семереньках может быть выше всякой должностной и ничтожно-видной жизни, со всеми удобствами, *блестящими комфортами*, и проч. и проч., даже жизни, невозмущенно-праздно протекшей в пресмыканьях по *великолепным* парижским кафе (Гоголь Н. В. Письма, 1836—1841).

Собирательное имя внешнего удобства, *комфорт* часто противопоставляется, прямо или косвенно, нематериальным ценностям, что объясняется спецификой аксиологических координат, в рамках которых на протяжении столетий выстраивалась русская национальная картина мира. Материальное довольство, «потребление, добротные экономические и политические структуры, нормы свободы и права, блеск и изящество культуры» [Гачева 1995: 64] позиционировались как необходимые и естественные, но иерархически вторичные по сравнению с этическими идеалами — нравственностью, свободой, счастьем. Ср.:

(6) Она взглянула на роскошную мебель и на все игрушки и дорогие безделки своего будуара — и весь этот *комфорт*... показался ей... насмешкой над *истинным счастьем* (Гончаров И. А. Обыкновенная история, 1847).

(7) Ведь она хлеб черный один будет есть да водой запивать, а уж душу не продаст, а уж *нравственную свободу* свою не отдаст за *комфорт* (Достоевский Ф. М. Преступление и наказание, 1866).

К образцу христианских аскетических практик, несмотря на радикальное отступление от их аполитичной, исключительно религиозной ориентации, восходила по своим внешним параметрам — отказу от материальных благ, самопожертвованию для высшей цели — и этика «аскетического самоограничения и самопожертвования», ставшая преобладающей ценностно-поведенческой моделью в кругах социально сознательной интеллигенции [Херльт, Цендер 2020: 9]. В философско-публицистических текстах самой разной идейно-политической направленности эксплицитную отрицательную оценку получает само стремление к внешнему удобству; ср. метафорическое уподобление комфорта идолу — фетишу «религии земного благополучия» (ср.: [Франк 2020]):

(8) Он один наш идол, и в жертву ему приносится все дорогое... *Для комфорта* проводится трудовая, до чахотки, жизнь!.. *Для комфорта* десятки лет изгибаются, кланяются, кривят совестью!.. *Для комфорта* кидают семейство, родину, едут кругом света, тонут, умирают с голода в степях!.. *Для комфорта* чистым и нечистым путем ищут наследства; *для комфорта* берут взятки и совершают, наконец, преступления!.. (Писемский А. Ф. Тысяча душ, 1858).

Тексты художественного дискурса эксплицируют еще одну, психологическую причину сдержанного отношения к феномену комфорта. Семы материального довольства, общие для субстантивов *богатство*, *достаток*, *благополучие*, сочетаются в семантической структуре слова *комфорт* с идеей покоя, которая, в зависимости от авторской интенции, может интерпретироваться как лень, эгоизм или одиночество. Ср.:

(9) Можно ли сравнить с ними современные модные клетки Европы, этот жалкий *эгоистический* быт, этот мишурный блеск, этот *изнеженный, изнеживающий комфорт*, эту рассчитанную для тщеславия лжероскошь?.. (Ростопчина Е. П. Палаццо Форли, 1854).

(10) Был он... холост, потому что был *эгоист*... и под конец жизни совершенно погрузился в какой-то сладкий, *ленивый ком-*

форм и систематическое *одиночество*. <...> Место у него было довольно *комфортное*: он где-то заседал и что-то подписывал (Достоевский Ф. М. Скверный анекдот, 1862).

Рост благосостояния городского населения России во второй половине XIX в. способствует расширению денотативного поля слова *комфорт*, которое начинает соотноситься не только с картиной изящества и богатства, но и с представлениями о «среднем» образе жизни. Среди определений анализируемого слова все чаще встречаются атрибуты, передающие идеи обыкновенности, естественности, напр. *домашний* (1850), *прозаический* (1857), *недорогой* (1870), *доступный* (1871), *привычный* (1877), *обычный* (1881), *разумный* (1894), *ординарный* (1912); регулярно используются определения семантики срединности и малости, напр. *относительный* (1877), *умеренный* (1885), [*самый*] *простой* — *простейший* (1896, 1900), *сравнительный* (1896), *элементарный* (1900). Ср.:

(11) Пол был чисто натерт, много цветов, рояль, красивые вязытые салфетки — словом, *будничный ординарный комфорт* интеллигентного труженика (Грин А. Автобиографическая повесть, 1912).

К концу XIX в. слово *комфорт* прочно входит в русский литературный язык как однословный синоним сочетаний *житейские / жизненные удобства / блага*, что находит свое отражение в лексикографических источниках, напр.: «*комфорт* — жизненные блага, хорошая материальная обстановка со всеми ее последствиями» [Павленков 1907]. Сема умеренности отличает *комфорт* от *роскоши*, которая нередко определяется антонимически — как «излишество в комфорте... связанное с затратами, превышающими средний уровень жизни» [Ушаков 1935: 1386].

Особенности функционирования слова *комфорт* в XX в. объясняются прежде всего экстралингвистическими причинами, а именно социально-экономическими изменениями, происходившими в социально-экономической жизни русскоговорящего социума. Широко используемое на рубеже XIX—XX вв., в период роста материального благосостояния городского населения России, оно утрачивает частотность в разгар революционного

движения 1905—1906 гг. и, «вернувшись» на краткое время в 1910-е гг., оказывается мало востребованным в 1920—1950-е. При общем снижении числа корпусных фиксации слова *комфорт*, обусловленном социально-экономическими факторами, сохраняется и нейтрально-сдержанная оценка одноименного явления. Сформировавшаяся в XIX в. этическая модель, в которой материальные блага вторичны по отношению к метафизическим идеалам, выступает одной из характеристик этой эпохи, что находит свое отражение в нехудожественной прозе, созданной как в Советском Союзе, так и в эмиграции. Ср.:

(12) Квартира, сначала в полку, а затем в городе, была самая банальная, «пустая» и «голая»; он лично даже не нуждался в *элементарном комфорте* (Бенуа А. Н. Жизнь художника, 1955).

(13) Он женился, но по-прежнему жил в поразительной бедности, настолько для него правильной и естественной, что, кажется, он ничуть ею не тяготился. <...> Как многие люди той эпохи, он был безразличен ко всякому, даже *элементарному, комфорту*. Если у него появлялись хоть небольшие деньги, он тратил их на книги (Чуковский Н. К. Литературные воспоминания, 1959—1965).

В 1970—1980-е гг. активизация зарубежных экономических контактов, связанная с увеличением экспорта советских нефтепродуктов при одновременном всеобщем дефиците в стране товаров широкого потребления, сопровождается формированием в картине мира носителей русского языка идеализированного образа «процветающего Запада». Его неотъемлемым элементом является представление о внешних удобствах материальной жизни, обобщенно именуемых словом *комфорт*. Частотность последнего в этот период неуклонно увеличивается, оценочные коннотации все чаще становятся положительными. Ср.:

(14) Александр Петрович ...был оглушен другой жизнью, *комфортом*, предупредительностью тех, кто их обслуживал. Барселона понравилась ему необыкновенно (Юрский С. Чернов, 1972—1978).

(15) У них зарплата 2500—3000 марок (это даже по курсу больше 1000 рублей), у них отпуск у рабочего — 6 недель... на каждых трех немцев — машина. У них нет разделения: центр — провин-

ция, так же, как нет «проселков» и второстепенных дорог, нет и разницы между деревней и городом ни в смысле *благополучия*, ни в смысле *комфорта*. Безумно обидно и пока непонятно (Черняев А. С. Дневник, 1979).

Оценочные смыслы, сдержанно-положительные в аксиологически-нейтральных контекстах, тяготеют к отрицательным в моменты философско-социальной рефлексии, когда явление комфорта помещается в ситуацию с более широкой ценностной перспективой. Ср.:

(16) А вот новый тип писателя. Он не мучается дурью, как какой-нибудь там Достоевский... не занимается поисками Бога в душе и не бежит ночью на станцию Астахово. Он ездит в мягкой «Стреле», проводит уик-энд в Пахре у приятеля, отдыхать ездит в Италию или, на худой конец, в Карловы Вары. Он *ценит комфорт*, и всякие там «нравственные поиски», которым он еще отдает дань иногда за вечерней беседой с приятелями, — тоже часть этого *комфорта* (Гребнев А. Б. Дневник, 1970).

Присущая писателю «нового типа» подражательность, высвечиваемая в приведенном фрагменте англицизмом *уик-энд* и топонимами *Италия*, *Карловы Вары*, противопоставляется образу художника как «человека ищущего». Ирония, маркируемая местоименными конструкциями с семантикой пренебрежения *какой-нибудь там (Достоевский)*, *всякие там (нравственные поиски)*, эксплицирует традиционную для русской картины мира иерархию ценностей «материальное» — «метафизическое».

Рост частотности слова *комфорт* сопровождается в 1970—1980-е гг. расширением его сочетаемости. Естественная связь между состоянием материального довольства и ощущением безопасности и покоя позволяет метафтонимически, на основе сходства нервных реакций на физические ощущения и психологические переживания, проецировать актуализируемые словом *комфорт* концептуальные признаки тепла и уюта на сферу эмоций. Процесс экстраполяции идей физического довольства на область внутреннего мира сопровождается расширением денотативного пространства, именуемого словом *комфорт*,

среди атрибутов которого в текстах 1970—1980-х гг. все чаще встречаются слова *психологический* (1979), *психический* (1981), *духовный* (1986), *эмоциональный* (1987). Ср. высказывание Л. К. Чуковской, описывающей внутреннее состояние (*душевный комфорт*) в терминах «своего», обжитого пространства:

(17) Но если верить самой себе, а не прокурору и не газетам, то... то... рухнет вселенная, провалится под ногами земля, прахом пойдет *душевный комфорт*, в котором ей так уютно жилось, работалось, аплодировалось... (Чуковская Л. К. Процесс исключения, 1978).

Процесс интериоризации концепта «комфорт» эксплицируют изменения в сочетаниях с лексемами ментально-психологической сферы, напр. *чувство*, *ощущение*. Наряду с узуальным для XIX — первой половины XX в. значением физического, телесного удобства (18) слово *комфорт* начинает выражать более сложные, нематериальные смыслы (19):

(18) Валерий Михайлович проснулся с *ощущением* необычайного *комфорта*: кровать, подушки, простыни (Солоневич И. Л. Две силы, 1953).

(19) Пишется и думается хорошо. На душе спокойно, пришло *ощущение* внутреннего *комфорта*. Дай Бог, чтобы это блаженное состояние не проходило до конца моей работы (Поповский М. Семидесятые. Записки максималиста, 1971).

Смещенное, «психологическое» прочтение окончательно закрепляется за лексемой *комфорт* к концу 1990-х гг., когда на смену синкретичному изложению значения в лексикографических источниках (20) приходят словарные статьи, разграничивающие прямое и переносное значения (примеры (21), (22)):

(20) Комфорт, -а, м. Условия жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спокойствие и уют. *Устроиться с ~ом*. *Психологический к.* [Ожегов, Шведова 1995: 283].

(21) Комфорт, -а, м. 1. Совокупность бытовых удобств; условия жизни, обеспечивающие покой, уют. *Устроиться с комфортом*.

Обеспечить отдыхающим полный к. 2. Состояние удовлетворения, внутреннего покоя из-за благоприятно сложившихся обстоятельств. *Психологический к.* [Кузнецов 1998].

(22) Комфорт, -а, м. 1. Бытовые удобства: благоустроенность и уют жилищ, общественных учреждений, средств сообщения и т. п. 2. В переносном смысле: *душевный комфорт* — состояние внутреннего спокойствия, отсутствие разлада с собой и окружающим миром» [Гусев 1999].

Отказ России от коммунистической идеологии и безусловное принятие западного образца устройства общества и экономической системы сопровождались в 1990-е гг. активным внедрением в картину мира носителей русского языка ценностей англо-американской цивилизации. Результатом манипулятивного воздействия, осуществляемого посредством всех доступных информационных каналов, стала переориентация на эгоцентричную модель существования, в центре которой стоит самодостаточное и самодовлеющее человеческое «я» [Анненкова 2011: 191—193]. Массовая культура популяризирует идеи радикального гедонизма, постулирующего в качестве высшей цели жизни удовлетворение всех желаний для получения максимума положительных эмоций, и сакрализирует потребление, которое обретает черты тоталитарной идеологии. Сформировавшееся в рамках восточно-христианской культурной парадигмы представление о всеобъемлющей объективной самооценности — абсолютной полноте бытия, данной в Боге [Лосский 2000], — намеренно нивелируется, вытесняемое на периферию сознания.

Аксиологическое переформатирование картины мира сопровождается выдвиганием концепта «комфорт» в фокус внимания носителей русского языка, о чем свидетельствует лавинообразный рост частотности актуализирующей его лексемы. Основным каналом манипулятивного воздействия становятся средства массовой информации, о чем свидетельствуют, в частности, данные газетного подкорпуса НКРЯ: в период с 1983 по 1993 г. слово *комфорт* зафиксировано в 38 документах, в 1994—2003 гг. показатель вырастает до 1244, в 2004—2013 гг. — до 4828. Возможности глобальных медиаакторов значительно расширяют-

ся с повсеместным внедрением информационных технологий; так, поисковая система Google на запрос *comfort* предлагает 131 000 000 ответов (ср. 118 000 000 для ключевого слова *счастье* и 13 200 000 для слова *советь*), стимул *comfort* вызывает около 6 220 000 000 реакций (1 560 000 000 — *happiness*).

В рекламе, эффективность которой обусловлена активизацией воображения как мощнейшего инструмента психологической регуляции, комфорт позиционируется в качестве достижимого идеала и желаемой цели. В мультимодальных текстах медиадискурса концепт «комфорт» воспроизводится на всех доступных для воздействия уровнях восприятия — образом (визуальном, аудиальном), лингвистическом. В рекламных текстах 2000—2020-х гг. слово *comfort* соотносится с образом идеальной реальности — иллюзорной, но совершенной. Лексема воспроизводится не только в ее привычной кириллической графике, но и в форме англоязычного вкрапления *comfort*, вызывающего ассоциации с англо-американским образом жизни, также идеализированным. Ср. фрагмент рекламы автомобиля:

(23) Тут еще стоит добавить, что он — самый *комфортный* из внедорожников. <...> Великолепно, что можно менять под настроение настройки машины — от расслабленного *Comfort* до довольно резкого *Sport*. ... Особенно хороша показалась «золотая середина» между этими пограничными режимами (Ведомости, 05.03.2016).

Меняется и ценностный статус концепта, именуемого анализируемой лексемой. Сдержанно-нейтральная оценка, характерная для текстов предшествующих десятилетий, уступает место положительной; *comfort* как обобщенное имя положительно окрашенных переживаний все чаще соотносится с идеей основной и конечной ценности человеческого существования. Аксиологические установки подобного рода находят свое эксплицитное выражение, в частности, в рамках оптативных высказываний, свойственных речевым актам пожелания, и в императивных конструкциях рекламного дискурса. Ср.:

(24) Самое время задуматься о подарках! Что может быть лучше, чем подарить даме вашего сердца то, о чем она *мечтает* — прекрасные сны, красоту, *комфорт* и здоровье (Комсомольская правда, 06.03.2009).

(25) Сергей Алексеевич! В день рождения *желаю* одного — душевного *комфорта* (Дни рождения // Коммерсант, 23.07.2010).

(26) С праздником, малышки! Надеюсь, что этот день еще раз напомнит нам всем, что самый важный человек в нашей жизни — это мы сами. Жизнь одна, и если смысл не в том, чтобы прожить ее *с максимальным комфортом* для себя, то в чем? ...делайте только то, что делает вас счастливыми, и никогда не стесняйтесь этого! (ВКонтакте, 08.03.2018).

Стремительная экспансия идеи комфорта, охватывающая пространство русского мира в 1990—2020-е гг., проявляется в беспрецедентном росте активности единиц словообразовательного гнезда *комфорт-*. Количество вхождений прилагательного *комфортный* в период 1990—2021 гг. увеличивается по сравнению с предшествующими тремя десятилетиями более чем тридцатикратно (1960—1989 гг. — 28 документа в НКРЯ vs 1990—2021 гг. — 866 документов); частотность наречия *комфортно* вырастает почти в тридцать четыре раза (1960—1989 гг. — 19 документов, 1990—2021 гг. — 637).

На фоне «духовной безбытности» [Флоровский 1991: 461] усиливается внимание к внешнему быту, который, приобретая исключительную онтологическую убедительность, «вбирает» в себя не только бытовые, но и психологические реалии. В постиндустриальном обществе, заблудившемся «в собственном изобилии» и утратившем завещанные традицией «устои, нормы и идеалы» [Ортега-и-Гассет 2000: 66], манипулятивное эксплуатирование квазиценности «комфорт» проникает во все области бытия, подчиняя эгоцентричной логике потребления эмоции и чувства, желания и потребности.

На словесном уровне это проявляется, в частности, в максимальном расширении семантической валентности прилагательного *комфортный*. Свободное, в сравнении со своим семантическим дублетом, прилагательным *комфортабельный*,

от устойчивых ассоциаций с предметной сферой, оно вступает в сочетания со словами потенциально любой семантической области, напр. одежды (*комфортная обувь*, 2001), транспорта (*комфортный автобус*, 2000; *велосипед*, 2002; *автомобиль*, 2003; *лайнер*, 2003; *самолет*, 2005), питания (*комфортное вино*, 2002; *еда*, 2003; *продукты*, 2004), материалов (*комфортный песок*, 2017). Оно сочетается с процессуальными существительными (*комфортное вождение*, 2002; *поездка*, 2002; *стажировка*, 2002; *игра*, 2002; *бритье*, 2002; *обучение*, 2005; *мытьё*, 2010; *завтрак*, 2017), с именами природных явлений (*комфортная погода*, 2002; *микроклимат*, 2003; *метеоусловия*, 2004; *мороз*, 2020), периодов (*комфортные выходные*, 2002; *комфортное время*, 2002; *комфортный сезон*, 2004; *комфортные дни*, 2004). В сферу комфорта вовлекаются феномены, традиционно ассоциировавшиеся в русской картине мира с понятием идеального, такие как искусство: *комфортная музыка* (2006), *комфортный фильм* (2013), *комфортная эстетика* (2013), *комфортное искусство* (2015), *комфортные песни* (2018). В текстах второй декады XXI в. потенциальные коллокации слова *комфортный* варьируются от процессуальных имен физиологической сферы (*комфортное пищеварение*) до правовых терминов (*комфортный законопроект*).

Стремительная экспансия идеи комфорта, сопровождающаяся характерными для общества потребления процессами индивидуализации и разобщения, приводит к проецированию идеи удобства, психологического и физического, на представления о человеке и межличностные отношения. Возникают сочетания прилагательного *комфортный* с лексемами *общение* (2002), *контакт* (2011), *беседа* (2012), *язык* (2015), *переговоры* (2016), *коммуникация* (2017), *собеседник* (2017). С середины 2000-х гг. среди коллокатов прилагательного *комфортный* фиксируются имена лица, напр. *комфортный клиент* (2007), *компаньон* (2007), *партнер* (2009), *акционер* (2011), *общественник* (2012), *деятель* (2014), *контрагент* (2015), *оппонент* (2015), *аудитор* (2016), *соперник* (2016), *инвестор* (2016), *кандидат* (2018), *глава МВФ* (2021). В социуме, где «ничто внешнее не побуждает к самоограничению» и не побуждает «считаться с кем-то, особенно кем-то высшим» [Ортега-и-Гассет 2000: 101], эгоизм

возводится в ранг необходимости. Ключевой ценностью становится самовыражение, и единственной точкой референции, относительно которой оценивается реальность, оказывается «я» говорящего. Широкое распространение получает сочетание *комфортный человек*, позволяющее охарактеризовать личность с точки зрения ее «психологической совместимости» с говорящим. Ср.:

(27) Интересно, почему фраза «удобный человек» воспринимается как что-то негативное, мол, человек не должен быть удобным... а вот фраза «комфортный человек» — это уже комплимент? (ВКонтакте, 07.04.2023).

(28) В моем понимании *приятный человек* — кто-то, с кем просто приятно находиться, общаться, проводить вместе время; *комфортный человек* — кто-то, с кем чувствуешь себя как дома, кто-то, кто вызывает тепло в душе, чувство уюта (ВКонтакте, 07.04.2023).

(29) *Комфортное кресло* — это кресло, в котором удобно сидеть, так и ассоциация, что *комфортный человек* — человек, с которым удобно общаться, то есть как бы утилитарное отношение к человеку (ВКонтакте, 07.04.2023).

Проведенное исследование позволяет заключить, что в смысловых трансформациях лексемы *комфорт* с рельефной отчетливостью отражается процесс манипулятивного влияния эгоцентрически ориентированного медиадискурса на русскую картину мира. Актуализирующее ценностные установки иной культуры, слово *комфорт* изменяет изнутри «питательную среду» мысли (ср.: [Шпет 1996: 55]), оказываясь инструментом воздействия на концептуальную картину мира русскоязычного социума. Деаксиологизация картины мира русского человека, сформировавшейся в рамках восточно-христианской культурной парадигмы, сопровождается нивелировкой ценностных антитез «внутреннее — внешнее», «временное — вечное». Активная популяризация образа «комфортной жизни» в медиапространстве приводит к экстраполяции идеи комфорта, первоначально ограниченной представлением о внешнем благополучии, на все сферы жизнедеятельности индивида и социума.

В настоящее время массовое тиражирование в русскоязычном медиапространстве образа «комфортной жизни», проявляющееся, в частности, в лавинообразном росте частотности лексем корневой группы *комфорт*- и беспрецедентном расширении их семантической валентности, влечет за собой проникновение квази-ценности «комфорт» во все сферы бытия. В обществе потребления лексема *комфорт* становится именем псевдоценности, достижение которой позиционируется в качестве единственной цели человеческой жизни.

Список литературы

Анненкова И. В. Медиадискурс XXI века. Лингвофилософский аспект языка СМИ. М. : Изд-во Моск. Ун-та, 2011.

Баткин Л. М. Итальянское Возрождение как исторический тип культуры : науч. докл. на соиск. ученой степени д-ра ист. наук / Институт всеобщей истории АН СССР. М., 1991.

Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв. Т. 3. М. : Прогресс, 1992.

Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск : Полиграмма, 1993.

Вебер М. Избранное: протестантская этика и дух капитализма. М. : РОССПЭН, 2006.

Воробьев В. В. Лингвокультурология. М. : Изд-во РУДН, 1997.

Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1996.

Гайденко П. П. Время. Длительность. Вечность. Проблема времени в европейской философии и науке. М. : Прогресс-Традиция, 2006.

Гайденко П. П. Предисловие // Вебер М. Избр. произвед. М. : Прогресс, 1990. С. 5—43.

Гачева А. Ф. М. Достоевский и Ф. И. Тютчев о человеке и истории // Русское возрождение. 1995. № 62. С. 42 — 77.

Гриднев Ю. В. О семантике слова *комфорт* в дискурсе президента // Неродные языки в учебных заведениях. Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 2002. С. 28—29.

Гуревич А. Я. Избр. тр. Средневековый мир. СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2007.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М. : Искусство, 1984.

Гусев И. Е. Современная энциклопедия. Минск : Харвест, 1999.

Жижек С. Интервью [8 апреля 2013 года] // Look at Me : [сайт]. URL: <http://www.lookatme.ru/mag/people/experience/191353-slavo-jizek> (дата обращения: 25.09.2024).

Зазуля В. С. Экологический комфорт и общественные пространства // Урбанистика. 2020. № 3. С. 75—90.

Карсавин Л. П. О сущности православия // Проблемы русского религиозного сознания. Берлин : Утца Press, 1924. С. 139—211.

Кащенко Т. Л. Комфорт как национальная идея // Власть. 2013. № 3. С. 97—100.

Кузнецов С. А. Большой словарь русского языка. СПб. : Норинт, 1998.

Кюльпе О. Введение в философию / под ред. С. Л. Франка. СПб. : О. Н. Попова, 1908.

Ле Гофф Ж. С небес на землю (Перемены в системе ценностных ориентаций на христианском Западе XII—XIII вв.) // Одиссей. Человек в истории. М., 1991. С. 25—44.

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Киев : Издательство им. свт. Льва, папы Римского, 2004.

Лосский Н. О. Ценность и Бог. Бог и Царство Божие как основа ценностей. Харьков ; М. : Фолио ; АСТ, 2000.

Можейко М. А. Идеал // История философии : энциклопедия. Минск : Интерпрессервис ; Книжный Дом, 2002.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Избр. тр. М. : Весь мир, 2000. С. 43—163.

Сарикев Г. Р. Метафизические основания понятий «комфорт» и «счастье» // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2016. № 4 (192). С. 17—21.

Сомин Н. В. Влияние протестантизма на имущественную этику и экономическую теорию // Православный христианин. 2009. № 4. С. 24—27.

Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М. : Языки русской культуры, 1997.

Флоровский Г., протоиерей. Пути русского богословия. Вильнюс : б. и., 1991.

Франк С. Л. Реальность и человек // Франк С. Л. С нами Бог. М. : АСТ, 2003. С. 133—438.

Франк С. Л. Полн. собр. соч. Т. 3 : 1908—1910. М. : Изд-во ПСТГУ, 2020.

Фромм Э. Иметь или быть? М. : АСТ, 2023.

Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков : Фолио, 2003.

Хейзинга Й. Осень Средневековья. СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2011.

Херльт Й., Цендер К. Изобилие и аскеза в русской литературе: Идеи и практики (приближение к теме) // Изобилие и аскеза в русской литературе: Столкновения, переходы, совпадения. М. : НЛЮ, 2020. С. 6—14.

Шетэля В. К истории слова комфорт в русском языке // Семантика. Функционирование. Текст. К 70-летию со дня рождения С. В. Черновой. Киров : Радуга-ПРЕСС, 2018. С. 210—213.

Шпет Г. Г. Психология социального бытия. М. ; Воронеж : Ин-т практич. психологии ; НПО МОДЭК, 1996.

Щеглова Е. А. Комфорт и удобство // Русская речь. 2013. № 4. С. 120 — 124.

Bawden G. Comfort and judgement: Nineteenth century advice manuals and the scripting of Australian identity. Melbourne : Monash University Publishing, 2019.

Boduch M., Fincher W. Standards of human comfort: Relative and absolute. Austin: University of Texas, 2009. URL: <https://repositories.lib.utexas.edu/server/api/core/bitstreams/89ae56e8-0c3d-4d00-b713-0119c7fb0c-ca/content> (дата обращения: 09.10.2024).

Boyd-Barret O. Media Imperialism: towards an International Framework for the Analysis of Media Systems // Mass Communication and Society / ed. by M. Gurevitch, J. Curran, J. Woollacott. L. : Edward Arnold, 1977. P. 116—135.

Clark A. Language, embodiment, and the cognitive niche // Trends in Cognitive Sciences. 2006. Vol. 10 (8). P. 370—374.

Crowley J. E. The invention of comfort: Sensibilities and design in early modern Britain and early America. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2003.

De Jean J. The age of comfort: When Paris discovered casual — and the modern home began. N. Y. : Bloomsbury, 2009.

Dess N. K. (ed.). A Multidisciplinary Approach to Embodiment: Understanding Human Being. N. Y. : Routledge, 2021.

Dove G. Rethinking the role of language in embodied cognition // Philosophical Transactions of the Royal Society B. 2023. Vol. 378 (1870). <https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0375>.

Grier K. Culture and comfort: Parlor making and middle-class identity, 1850—1930. Washington : Smithsonian Institution, 2010.

Hickey A. Comfort and Contemporary Culture: The problems of the ‘good life’ on an increasingly uncomfortable planet. N. Y. : Routledge, 2023.

Love N. Bonaventure, Saint, Cardinal, ca. 1217—1274 // Incipit Speculum vite Cristi, Literary and Linguistic Data Service. URL: <http://hdl.handle.net/20.500.14106/A16347> (дата обращения: 15.08.2024).

Mahon B. Z. What Is Embodied about Cognition? // Language, Cognition and Neuroscience. 2015. Vol. 30 (4). P. 420—429.

Maldonado T., Cullars J. The Idea of Comfort // Design Issues. 1991. Vol. 8 (1). P. 35—43.

Shove E. Comfort, cleanliness and convenience: The social organization of normality. Oxford : Berg, 2003.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Павленков Ф. Ф. Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык. СПб. : Типогр. Ю. Н. Эрлих, 1907.

Плюшар А. Энциклопедический лексикон. СПб. : В типогр. Плюшара, 1835. Т. 2.

Национальный корпус русского языка : [сайт]. URL: <http://ruscorpora.ru>. (дата обращения: 23.05.2023).

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М. : АЗЪ, 1995.

Селивановский С. Энциклопедический словарь. М. : Типогр. С. Селивановского, 1825. Т. 4, ч. 1.

Ушаков — Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. М. : Сов. Энцикл., 1935. Т. 1.

Early English Books Online : [сайт]. URL: <https://www.english-corpora.org/eebo/> (дата обращения: 14.08.2024).

Fielding H. The History of Tom Jones, a Foundling : [сайт]. URL: <https://www.gutenberg.org/cache/epub/6593/pg6593-images.html> (дата обращения: 30.08.2024).

Gray T. Thomas Gray Archive: Texts, Letters : [сайт]. URL: <https://www.thomasgray.org/texts/letters/collection=letters&addressee=Beatrice,+James,+1735-1803> (дата обращения: 30.08.2024).

King James' Bible : [сайт]. URL: https://www.kingjamesbibleonline.org/1611_John-Chapter-14/#16 (дата обращения: 15.08.2024).

Middle English Dictionary : [сайт]. URL: <https://quod.lib.umich.edu/m/middle-english-dictionary> (дата обращения: 16.07.2024).

Oxford English Dictionary. 2nd ed. : [сайт]. URL: <https://www.oed.com/oed2/00044727> (дата обращения: 08.02.2023).

The Book of Common Prayer, and Administration of the Sacraments : [сайт]. URL: <http://justus.anglican.org/resources/bcp/1662/catechism&conf.pdf> (дата обращения: 15.08.2024).

Tyndale W. The Bible : [сайт]. URL: <https://textusreceptusbibles.com/Tyndale/43/14> (дата обращения: 15.08.2024).

Walpole H. The Letters of Horace Walpole, Earl of Orford. Vol. 4 : [сайт]. URL: <https://www.gutenberg.org/cache/epub/4919/pg4919-images.html> (дата обращения: 30.08.2024).

Web Corpus : [сайт]. URL: <https://www.english-corpora.org/iweb/> (дата обращения: 10.10.204).

Wordsworth D. Recollections of a Tour Made in Scotland A. D. 1803 : [сайт]. URL: <https://www.gutenberg.org/files/28880/28880-h/28880-h.htm> (дата обращения: 30.08.2024).

2. Практики англогибридизации ономастического пространства российских городов

Феномен языковой гибридности в синхронно-диахронической перспективе

Понятие гибридности, восходящее к области естественных наук и трактуемое как «скрещивание разнородных в наследственном отношении организмов» [СЭС 1987: 300], достаточно быстро подверглось метафоризации и стало использоваться по отношению к лингвистическим явлениям. Первоначально в качестве примеров языковой гибридизации выделялись единицы словообразовательного уровня, состоящие «частично из родного, а частично из иностранного материала» [Хауген 1972: 352], типологизируемые как подвид заимствований. Однако осознание того, что в процессе эволюции ощущение иноязычности компонентов, входящих в состав производного слова, утрачивается, обусловило появление идей о дисфункциональности и бесполезности данного термина. Опираясь на чувство языка его современных носителей, К. Вашакова задается вопросом, не является ли в современном языкознании термин «гибрид» все менее «функциональным и даже излишним?» [Waszakowa 2003: 9].

Безусловно, процесс освоения гибридных производных единиц протекает по-разному: от их полного морфологического опрощения до весьма устойчивых, несмотря на давний срок бытования в языке, производных гибридов, как, например, в сложных словах с первой основой греческого происхождения *авто-*: *автодорога*, *автогонка* и др. Однако различная степень устойчивости гибридных единиц к процессу «притирания» их компонентов друг к другу вряд ли может служить основанием для того, чтобы отказать данному типу слов в праве на автономное теоретическое описание, хотя бы в диахронической ретроспективе. Этот вопрос во многом типологически

близок к проблеме «внутренней формы» слова, которая также утрачивается в процессе эволюции, однако значимость ее реконструкции никем из лингвистов не ставится под сомнение. В сущности, процесс нивелирования ощущения генетической чуждости внутренних компонентов гибридных лексем может быть классифицирован как одна из разновидностей утраты словом его внутренней формы.

Примечательно, что по отношению языковым системам, представляющим собой эффект скрещивания различных языков, термин «гибридный» оказался практически невостребованным в контактологической лингвистике XX столетия. Так называемые контактные языки получили обозначение «пиджинов», то есть упрощенных языков, представляющих собой результат смешения, как правило, языка колонизаторов с языком колонизируемого ими населения. Своего рода визитной карточкой такого скрещивания языков может служить само название «pidgin», которое, согласно данным этимологического словаря, описывается как «китайский вариант произнесения английского слова «бизнес»: «early 19th century (as *pigeon*): Chinese alteration of English *business*» [OED].

Большинство английских пиджинов возникли в британских колониях в течение XVII—XVIII вв., затем на их основе, в результате наследственной фоссилизации (закрепления ошибочной версии элемента чужого языка и ее превращения в системную речевую норму) в течение XIX—XX вв. возникают креольские языки. Данный процесс описывается в лингвистике как эффект нативизации (от англ. *native* ‘родной’), или креолизации пиджина, а новая ступень развития контактного языка именуется креольским языком, или креолом. В истории их изучения в качестве основных понятий в зарубежной и российской лингвистике используются термины «субстрат, суперстрат и адстрат»¹. Обращает на себя внимание, что, не будучиотягощенным требованиями политкорректности, первоначально разъяснение смыслов, вкладываемых в данные терминолог-

¹ Подробнее об истории становления и развития данных терминов, а также наличия их субвариантов (перстрат, интерстрат и интрастра), см.: [Ткаченко 2007: 145—155].

семь, основывалось на описании типов языковых отношений, возникающих между «победителями» и «побежденными». Это противопоставление находит свое непосредственное отражение и в словообразовательной структуре терминов. Так, термин «субстрат» (от лат. *sub* ‘под’ и *stratum* ‘слой, пласт’) используется в качестве характеристики наличия следов побежденного языка в системе языка победителя, когда местное население постепенно принимает язык пришельцев. Как суперстрат (от лат. *super* ‘над’ и *stratum* ‘слой, пласт’) характеризуются следы исчезнувшего языка пришельцев, побежденного языком местного населения. Адстрат (от лат. *ad* ‘при, около’ и *stratum* ‘слой, пласт’) являет собой нейтральный тип языкового взаимодействия, в результате которого образуется язык, наследующий элементы как языка автохтонов, так и языка пришельцев. К экстралингвистическим факторам, предопределяющим возникновение конкретного типа контактных языковых стратов, принято относить «временную протяженность и интенсивность соприкосновения различных наций; военное, политическое и культурное превосходство одного из народов; социальное положение лиц, относящихся к смешивающимся группам или народам; религиозные факторы; психические особенности смешивающихся народов; географические и транспортно-технические факторы» [Ткаченко 2007: 151].

Для теоретического описания вариантов миксирования языков в эпоху глобализации характерен фактически полный отказ от понятийно-терминологического аппарата традиционной лингвистической контактологии, что можно объяснить, с одной стороны, новым форматом контактирования языков, характеризуемого Г. П. Нешименко как «контактно-дистантное с большей долей дистантного» [Нешименко 2002: 121—151], а с другой стороны, влиянием тенденции политкорректности, исключающей прямолинейное описание взаимодействия языков и наций в терминах «победы» и «поражения». В современных условиях доминанция языка-донора утрачивает свою эмпирическую очевидность ввиду физического отсутствия совокупности его победоносных представителей на территории колонизируемых / глобализируемых стран. Основной площадкой интеракции языков и культур становится прежде всего Интернет и уже во вторую

очередь рост мобильности населения планеты. Предсказание Билла Гейтса, одного из основателей корпорации «Майкрософт», о том, что «информационная супермагистраль расширит электронное рыночное пространство и сделает его главным посредником, всеобщим маклером» [Gates 1995: 158], осуществилось в полной мере и в области языковой интеракции.

Связующее влияние Интернета остается актуальным даже в изменившихся геополитических условиях, когда, несмотря на разрыв Россией отношений с США и их европейскими сателлитами, влияние американского варианта английского языка продолжает ощущаться как основной стержень, определяющий речевые практики носителей современного русского языка. Универсальным транслятором языкового контента остаются электронные медиа и интернет-сети, которые нивелируют расстояние и делают транзакции мгновенными. Возникающие в англоязычной сети Интернет слова или речевые клише мгновенно разносятся миллионами пользователей, вплетаются в лексический состав принимающих языков и зачастую транслируют англо-американские культурные смыслы и соответствующие им поведенческие практики.

Причины столь высокой степени заразительности американских лингвокультурных элементов объясняются учеными по-разному, в зависимости от общих взглядов лингвистов на язык-донор в свете его отношений с языками-реципиентами. В воззрениях отдельных ученых сквозит с трудом скрываемый пафос победителей, считающих, что «английский язык — язык возможностей и действия, символ мирового духа и поиска новых смыслов, язык-посредник, способствующий сближению культур» [Crystal 199: 97]; он «дает ощущение надежды, материального успеха, прогресса, научных и эмпирических исследований» [Steiner 1998: 113]. Другие лингвисты, напротив, не понимают, почему «все то, что переносится из различных метрополий в другие общества, мгновенно усваивается и натурализуется: музыка и стиль устройства домов, наука и терроризм, спектакли и конституции» [Appadurai 1996: 29]. Сторонники подобных взглядов выражают опасения, что глобализация приведет к утрате этносоциумами их национально-культурной и языковой идентичности в результате экспансии нового лингва

франка, который получает лишённые политкорректности метафорические характеристики: «язык-убийца, кукушонок в гнезде языков, язык-тиранозавр; лингвистический империализм и языковой геноцид (linguicide)» [Кирилина 2018].

Однако все эти утверждения не способны в полной мере прояснить, в чем же виноваты креативные носители англо-американской культуры, коль скоро даже в условиях прекращения деятельности передовых, оплачиваемых отрядов агентов глобализации в России¹ американские лингвокультурные смыслы продолжают уверенно шагать по мировым, в том числе российским, медиаландшафтам, стримам и подкастам. Признаемся себе честно, что никто не принуждал население всего мира к перманентным селфи-практикам, к неумеренной любви к «кофе-на-вынос» и «кофе-в-постель», к погоне за драйвом и адреналином в разных формах экстримного поведения, к поеданию поп-корна в ходе просмотра американских ситкомов или блокбастеров и прочим must-have. На наш взгляд, ответ на вопрос о причинах перехода основной массы населения планеты в режим вдохновенного копирования англо-американских культурно-поведенческих смыслов лежит на поверхности и заключается в простоте и наглядности тех потребительских благ, того повышения «качества жизни» и создания «комфортной среды», которые не требуют особых материальных или интеллектуальных затрат и внезапно (особенно после 70 лет коммунистического консумпционного аскетизма в период существования СССР) стали общедоступными и общеприятными. Простые радости масскультуры не требуют дополнительной идеологизации, они были явлены человечеству еще во II в. н. э. и увековечены последним классиком римской сатиры Ювеналом в словах “panem et circenses” (*хлеба и зрелищ*), а в настоящее время лишь обрели англо-американизированный формат.

Изменившиеся экстралингвистические факторы привели к изменениям в теории лингвистической контактологии. Так, утратил свой смысл научный поиск языка-посредника, через который слово проникает в конкретный язык; почти полностью

¹ Об основных агентах глобализации см. подробнее см. подробнее: [Fairclough 2006].

вышли из употребления идеологически нагруженные термины «пиджин» и «креолы», «суперстрат» или «субстрат». На смену им пришло более соответствующее реальному состоянию и глобальным лингвистическим трендам осмысление новых типов интеракции лингва франка со множеством языков-реципиентов в терминах гибридов. Как указывает Д. Греддол, лингвокультурная глобализация ведет не к гомогенизации и однообразию, а к созданию новых гибридных форм языка и культуры, отвечающих местным традициям, ценностям и социальным контекстам. Неприятие данных форм способно обернуться «нереализацией каких-то культурных и когнитивных потенциалов соответствующего этноса» [Graddol 1997: 7]¹.

Неприкрытый лингвокогнитивный империализм, сквозящий в вышеприведенном высказывании, находит свое отражение также в том, что изучение гибридных форм в англоамериканской лингвистике имеет своим основным объектом не конвергентное состояние языков-реципиентов, а региональные разновидности самого языка-донора. Мировой английский, так называемый Globalish [Ammon 2010], получает гибридные терминобозначения, в которых аффиксальная часть *-glish* выступает в качестве родового десигнатора, в то время как первый слог — в качестве идентификатора конкретного языка: *Denglish*, *RunGLISH*, *FranGLAIS*, *Spanglish* и т. п.

Одним из основоположников так называемой вариантной контактологии в эпоху глобализации является американский лингвист индусского происхождения Брэд Дж. Качру, автор теории о концентрических кругах мировых «инглишей». В самих названиях основных трудов Б. Качру отражается эмоциональное отношение автора к причинам и последствиям влияния английского языка на языки мира. В одной из работ он выясняет, в чем состоят причины «алхимии мирового английского» [Kachru 1990], в другой говорит об «экстазе» по поводу всемирной экс-

¹ В связи с этими высказываниями вспоминается слоган американского боевика режиссера Ч. Рассела «Стиратель» («Eraser», 1996): «He will erase your past to protect your future» (*Он сотрет ваше прошлое, чтобы защитить ваше будущее*).

пансии английского, о грозящей множеству вымирающих языков «агонии» и утрате национально-культурной идентичности их носителями [Качру 2012].

В этой статье Б. Качру не приводит источники данных, на основе которых он фиксирует актуальное состояние гибридных языковых форм и предрекает закат многоязычной и мультикультурной цивилизации. Однако с определенной долей вероятности можно предположить, что выводы столь глобального уровня не могли быть сделаны на основе наличия полностью достоверных знаний в области актуального состояния конкретных языков и сформировавшихся на их основе гибридов глобального английского языка. В связи с этим вполне очевидными представляются сомнения Э. Н. Меркуловой в том, «а был ли действительно *RunGLISH*?» [Меркулова 2015].

Несмотря на единую структурную модель, лежащую в основе номинаций гибридных языков (*Denglish*, *Frangle* (*Franglais*), *Ingrish*, *Manglish*, *Hinglish*, *Singlish* и т. п.), «эти термины обозначают существенно отличающиеся проявления влияния английского языка на языки национальные» [Там же: 45]. Так, *Hinglish*, или индийский вариант английского языка, представляет собой особый диалект, имеющий в своей исторической основе колонизацию Индии Британской империей, что, в сущности, вынудило многоязычное население Индии коммуницировать с английскими колонизаторами. Соответственно, хинглиш в настоящее время представлен несколькими разновидностями, обладающими различной степенью нормативности и престижности [Курченкова 2014: 104—108]. Примечательно, что, возникая как средство коммуникации с колонизаторами, после предоставления Индии независимости в 1947 г. сформировавшийся идиом британского английского стал служить целям внутригосударственного межэтнического общения. Наличие в Индии многочисленных языков обусловило востребованность и живучесть языка колонизаторов, используемого как своего рода лингва франка внутреннего назначения.

Сходную историю и функциональную востребованность в связи с отсутствием единого этнического языка в рамках одного государства имеет также *Singlish*, распространенный в Сингапуре креольский язык на основе английского языка. Будучи

колонией Британской империи с 1867 по 1959 г., Сингапур вынужден был использовать язык своих колонизаторов как средство общения с ними, что привело к формированию нескольких разновидностей креолизованного английского, выполняющего в настоящее время роль средства общения между тремя различными этническими группами, населяющими Сингапур.

Абсолютно очевидно, что у таких стран, как Россия или Германия, не было никаких исторических и этнических оснований для формирования устойчивого идиома английского языка как средства межэтнического общения. Русский и немецкий английский, так называемые *Runglish* и *Denglish*, формировались преимущественно в условиях искусственного педагогического дискурса, роль которого в изучении английского языка возросла с наступлением эпохи англо-американской глобализации. Строительство российского бизнеса по американским лекалам способствовало внедрению английских слов и лингвокультурных образцов в практику делового общения. Как указывает С. В. Власенко, стремление развивать успешный бизнес предполагало желание «конвертировать не только свои дипломы и иные свидетельства о получении профессионального образования, но и мысли и манеру именовать события, явления и т. п.» [Власенко 2007: 87]. Свою роль в англоамериканизации русского дискурса сыграл политический истеблишмент, акторы научно-институционального дискурса высших и средних учебных заведений, а также массмедиа, строящие свои шоу-проекты на основе закупленных американских лицензий и т. п.

Несмотря на широту охвата английским языком сфер бытования российского социума, в России не возникло реальных экстралингвистических факторов для формирования своего собственного варианта языка-донора глобализации. Его присутствие в русских речевых практиках проявилось на системном языковом уровне в виде заимствований различного типа, на речевом уровне — в виде макаронизации речи определенных социальных и профессиональных групп или отдельных индивидов посредством навыка использования в речи английских лингвистических вкраплений. В настоящее время не существует никаких оснований для того, чтобы «считать русифицированный английский («русский английский»)»... культурно спец-

ифичным вариантом глобального английского» [Алешинская, Гриценко 2014: 192]. Если синглиш и хинглиш используются в течение длительных периодов как средство межэтнической коммуникации и представляют собой сложившиеся образцы креолизованного английского языка, то в случае рунглиша имеет место явление совсем другого порядка. Достаточно точно сущность рунглиша была определена в газете «Daily Telegraph», описывающей его как «жаргон “кульного” поколения молодых россиян, пропитанный англицизмами». Они шлют своим «френдям» приглашения на «дринк» в «паб» при помощи СМС или Интернета (цит. по: [Шенаева 2013: 53]).

С начала открытия России воздействию глобализационных процессов прошло уже более 30 лет, в течение которых гибридизация речевых практик во многих дискурсивных сферах стала общепринятым приемом, навязывающим образцы миксирования средств двух языковых систем как регулярные, нормативные средства. Английские слова или графемы самым активным образом используются в названиях различных товаров, фирм, кинокомпаний и их продукции, приучая российское население к англогибридизации как к неким легитимным практикам комбинирования графических и лексических систем. Одной из наиболее «влиятельных» форм воздействия практик англогибридизации русского языкового сознания следует признать лингвистический ландшафт российских городов, поскольку «именно город с его промышленностью и миллионным населением, с его естественной морфологией, отражает все формы и аспекты социокультурной жизни горожан и функционирующих социальных институтов, определяя характер локальных цивилизационных процессов» [Смирнова 2001: 10].

Основные типы англогибридизации лингвистического ландшафта российских городов

Многочисленные изменения, которые произошли в русском языке новейшего периода на его различных уровнях, находят свое эксплицитное отражение в лингвистическом ландшафте (далее — ЛЛ) российских городов. Следует признать, что владельцы частных коммерческих предприятий осуществили на-

стоящий прорыв в области ономастической инициативы, используя лингвокреативность как «продающий» языковой ресурс. Возврат России к рыночной системе совпал по времени с неудержимой экспансией англоязычного Интернета, что создало экстралингвистическую основу для появления и функционирования в ЛЛ номинаций коммерческих объектов, не только komponующих элементы русского и английского языков, но и представляющих собой гибриды различных семиотических систем.

С типологической точки зрения именно два данных способа комбинирования знаков в одном имени следует признать основополагающими при разработке общей классификации гибридных номинаций. Принципы классификации, основанной на фундаментальных различиях в средствах и способах соединения элементов различных языковых или знаковых систем, наиболее системным образом изложены в диссертации Е. В. Зубрицкой [Зубрицкая 2024]. Автор синтезирует уже имеющиеся разрозненные попытки классификации гибридных единиц в рамках лингвистики креатива [Попова 2013; Гридина 2020] и городской ономастики [Рацибурская 2019] и предлагает универсальную характеристику окказиональных образований данного типа.

Все гибриды подразделяются на две фундаментальные разновидности: «моносемиотические гибриды (образованные из элементов различных языковых систем) и полисемиотические гибриды (образованные из элементов различных знаковых систем)» [Зубрицкая 2024: 65]. В рамках первой группы автор выделяет лексические лингволандшафтные вкрапления, транслитерированные на латиницу русские лексические единицы и группу искусственных гибридов, то есть окказиональных слов, созданных номинаторами из разноязычных элементов. Оригинальная идея охарактеризовать целостные англо-американские слова и словосочетания как «вкрапления» на первый взгляд кажется парадоксальной, поскольку данный термин предполагает обязательное наличие некоего иноязычного текстового пространства, в котором фигурирует «инкорпорированный» чужеродный компонент [Новоженова 2012]. В то же время, как известно, коммерческий нейм представляет собой автономную единицу, расположенную на конкретной вывеске вне контекстного окружения. Однако характеристика «внедренности» ино-

язычного компонента в ткань автохтонного языка в данных случаях, по справедливому утверждению Е. В. Зубрицкой, проявляется на системном языковом уровне. В качестве текстового пространства выступает совокупность коммерческих наименований российского лингволандшафта, который, согласно законодательству РФ, должен быть представлен вербальными средствами государственного русского языка [Зубрицкая 2024: 67].

Группа лингволандшафтных вкраплений (далее — ЛЛВ) подразделяется на основе следующих критериев: 1) язык, к которому они относятся: английский, немецкий, французский и т. д.; 2) способ графической репрезентации: нетранслитерированные и транслитерированные ЛЛВ; 3) способ функционирования в рамках структуры эргонима (как единственное средство номинации объекта или как одно из средств в комбинации с лексическими единицами русского языка [Там же]).

Анализ ЛЛ российских городов выявляет факт абсолютной доминанции англоязычных лексических единиц¹, в чем нет ничего удивительного для глобализированной лингвокультурной среды России. Активное использование англоязычных лингволандшафтных вкраплений как имен коммерческих заведений свидетельствует о расчете номинаторов на достаточно высокий уровень знания английского языка целевой аудиторией, а также на сложившиеся стереотипы об использовании иностранных языков как способе повышения прагматического ранга наименования.

Кроме проприальных наименований, в коммерческой городской ономастике России сложилась устойчивая практика пополнения списка номенклатурных идентификаторов с по-

¹ Об этом свидетельствуют исследования, выполненные на материале самых различных российских городов: Москвы (Е. Н. Ремчукова, Т. П. Соколова, Е. А. Картушина, Ю. А. Налетова, А. С. Гуридова, И. А. Рукавишников), Смоленска (В. С. Картавенко, И. А. Королёва), Тамбова (А. С. Щербак, А. Ю. Асанов), Волгограда (Д. Ю. Ильин, Е. Г. Сидорова, В. И. Супрун), Нижнего Новгорода (В. Е. Замальдинов, В. Б. Шавлюк), Казани (Е. В. Варламова, Ф. Х. Тарасова), Иркутска (Ю. В. Вайрах, С. Н. Лохов), Тюмени (А. Ю. Башмакова), Читы (Н. П. Мыльникова) и многих других.

мощью лексических единиц английского языка, получающих чаще всего дублетное написание, например: *shop / шоп, bar / бар, restaurant / ресторан, studio / студия, hotel / отель, market / маркет, discount / дисконт, outlet / аутлет* и др. Данные имена представлены на вывесках как сами по себе, так и в сочетании с другими англоязычными квалификаторами (*barbershop, vapeshop, grill bar, launge bar, Smoke Market* и т. п.) или в постпозиции к проприальному имени (*JOIA WINE STORE; JOKER VAPE SHOP; GREC GRILL BAR* и т. п.).

Новым, чрезвычайно популярным в составе англоязычных номенклатурных идентификаторов является существительное *рум* (англ. *room* — комната) или *шоурум* (англ. *showroom* — комната для показов), которое репрезентируется как на латинице, так и на кириллице, например: *БЛЭК РУМ; BLOOM ROOM flowers САЛОН ЦВЕТОВ; VORONA SHOP Шоурум женской одежды; MUST HAVE by Стиль Майами МОДНЫЙ ШОУРУМ *МАСТ ХЭВ* и т. п.

Типичными для гибридных коммерческих неймов являются сочетания английских слов, сопровождаемых надписями на русском языке, чаще всего направленными на разъяснение характера коммерческого заведения или профиля оказываемых им услуг, например: *AllTime ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ; Art Room СТУДИЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ КАРТИН; fat cat Городское кафе* и т. п. Как можно заметить на примере вышеприведенных наименований, для визуальной представленности гибридных англо-русских неймов характерны слабая структурированность, нагромождение информации и ее плотное размещение, зачастую затрудняющее процесс восприятия и производящее эффект визуального шума. Например, *HAPPY HAIR СТУДИЯ КРАСОТЫ Счастье для Ваших волос; GREENTastylab кафе café бар bar кофе coffee полезное питание healthy food* и т. п.

Номинаторы миксируют элементы русского и английского языков самым различным образом, не заботясь о логике, стилистике или эстетике их размещения. Русские просторечные слова или сочетания нередко соседствуют с английскими наименованиями, вызывая определенный лингвокультурный диссонанс и свидетельствуя о незатейливом языковом вкусе креативных имядателей:

*S PACE SNEAKERS LAB МАГАЗИН КОСМИЧЕСКИХ КРОС-
СОВОК*

МАРУСЯ Сток

ОЛЯЛЯ СЕКОНД-ХЭНД

Чердак СЕКОНД НОВЫЕ ВЕЩИ КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

ЧИХ-ПЫХ ВЕЙП ШОП VAPE SHOP ПАРИМ И ТОЧКА

DONER № 1 ФАСТ-ФУД ШАВУХА съел бы сам

Своего рода демократизацию коммерческих имен, их избавление от бюрократического официоза, свойственного советской торговой ономастике, можно рассматривать как способ заигрывания с покупателем, попытку уравнивания статуса владельца и покупателя, демонстрации того, что мы тут все «свои в доску», как это заявлено на вывеске магазинов, входящих в общероссийскую сеть заведений «пивной культуры».

Значительно меньшая часть гибридных номинаций состоит из транслитерированных средствами кириллицы английских слов. При этом транслитерированный английский лексический элемент традиционно находится в препозиции к номенклатурным русскоязычным идентификаторам, например: *СМАЙЛ КОФЕ КОФЕ С СОБОЙ*; *Хэппи Бэби МАГАЗИН ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ*; *COLIBRI_KIDS детский outlet*; *OUTLETFactory ОДЕЖДА ОБУВЬ*; *Клевер Сити Центр ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР* и т. п.

Заметим, что последний пример являет собой яркое свидетельство того, что предъявленный в транскрибированном виде англицизм способен полностью утратить свою семантическую «читабельность». С большой долей вероятности можно предположить, что отказ от транслитерации английского слова *clever* / *клевер* обусловлен его омонимизацией с русским названием растения «клевер». Однако приблизительный фонетический транскрипт *клевер* становится малопонятным для смыслового декодирования реципиентами независимо от их уровня владения английским языком.

К устоявшимся практикам англогибридизации коммерческих неймов следует отнести использование односложных англий-

ских компонентов различного происхождения в препозиции к имени в качестве атрибутов родовой принадлежности именуемых объектов. Данный тип номинации отражает не только констатируемую многими лингвистами тенденцию русского словообразования к аналитизму, но и актуальные на сегодняшний день лингвокультурные тренды. Их маркерами становятся прагматические аттракторы, свидетельствующие о предназначенности товаров или услуг для избранных (*ВИПАРТ, VIP VAPE; TopTopDekor, TOP TREND, Топсвязь*), а также о принадлежности именуемого объекта к культурным или гастрономическим индустриям (*АртКофе, Арт-Роял, ВИПАРТ АРТТЮБИК, Арт-Холл, Арт-Роял, Art Room, Fashion Art Gallery* и т. п.).

Соотношение префиксоида *арт-* с русским дублетом «искусство» входит в общий ряд семантических англо-русских оппозиций с другими автохтонными аборигенами (*креативный / творческий, содержание / контент*), лишенными коммерческой составляющей и еще не переболевшими наличием души, смысла или вдохновения. Коммодифицированные версии экспонентов русской языковой картины мира отправлены английскими «майндом» и «боди» в долговременную ссылку как не выдержавшие испытания на прочность в условиях технологизированной рыночной системы.

Если экспансия американизмов в вышеуказанных псевдодублетах может быть признана оправданной, то повсеместное использование английского *kids / kids* вместо русского «дети» способно вызвать недоумение. В названиях различных магазинов для детей встречаем: *COLIBRI KIDS детский outlet, Kidsmax.ru, Top kids, Kids Mall, Polly kids, Kari-kids, STRAY KIDS, Кроха-Кидс* и др.

Последняя комбинация, апеллирующая к известному стихотворению В. Маяковского, представляет собой некий межкультурный композит и заставляет задуматься о наличии возможностей патриотического воспитания поколения, которое взрослые именуют английским словом «кидс». Данный номинативный «тренд», следует отметить, не исчезает даже в связи с изменениями мировой геополитической ситуации, напрямую затрагивающими Россию. В медийном пространстве находим информацию о том, что «телеканал СТС *KIDS* запустил в

2023 году юмористический проект “Хорошоу”» (<https://ctckids.ru/>). Данный сомнительного качества англо-русский гибрид лингвокреативные взрослые посредством капитализации отдельных частей слова и букв превратили далее в еще один игровой «нейм» — имя музыкального конкурса «ХОРОШОУ». С лингвистической точки зрения победа английского *kids* над русским *дети* вполне объяснима его однословным составом, делающим слово удобным для использования в качестве компонента составных наименований. Вопрос о социокультурных основаниях подобной лексической дублетизации слов, вполне очевидно, требует отдельного социолингвистического исследования.

Кроме англоязычных лексических вкраплений, в процессе создания гибридных имен используются игровые практики «англизации» отдельных частей слова, омонимичных русским словам. В этом случае номинаторы осуществляют процесс деконструкции слова, выделяя в русском слове тот фрагмент, который может быть представлен средствами английского языка, обращая внимание адресата на случайную, «незаконную» смысловую связь вычлененных в графическом облике слова компонентов» [Шкапенко, Ваулина 2020: 211]. На использовании данного приема базируются целые ряды однообразных игровых коммерческих номинаций. Так, во всей России распространены морфогибриды, омонимизирующие морфемы *бир- / бер*, например *бер* — *BEER: BEER*лога, *ЛуBEERmII*, *BEER'ЖА*, *Beerka* и даже магазин в Омске *BEEREZA*. Чаще всего номинатор не ограничивается одним приемом «англизации» части слова, используя одновременно тактики капитализации / декапитализации, а также апострофизации (*BEER'ЖА*). Регулярные преобразования омофоничных с английским словом *beer* (пиво) русских корневых морфем создают игровой эффект семантического встраивания английского слова в соответствующие лексические единицы русского языка.

Широко распространены игры с названием «шаверма», результирующие появлением игровых неймов: *ШЛАУROOM*, *ШаурХОЛЛ*, *Showрма*. Английское существительное *city* (город) не только вошло в состав официальной российской номенклатуры (*сити-менеджер*, *Москва-сити*), но и стало устойчивой

основой сложных наименований типа *Здравсити*, *Ситилаб*, *Ситилинк*, *Ситислип* и т. п. Распространенной игровой практикой становится капитализация в составе русских слов суффикса *-ок*, имплицитующего омонимизацию с главным достижением американской речевой культуры¹ — междометием *ОК*, например: *ГородОК*, *ВетерОК*, *УголОК*, *ПирожОК*.

Оригинальные, не поддающиеся дальнейшей словообразовательной типизации примеры использования элементов двух языковых систем встречаются значительно реже. Например, в номинации клуба виртуальных игр *VRooM* сочетаются, с одной стороны, транслитерированный на латиницу русский предлог «в» со значением локализации, что может быть прочтено как «в комнате», с другой стороны, капитализация двух первых согласных совпадает с аббревиатурой *VR* (*virtual reality* — виртуальная реальность), указывая на профиль деятельности заведения. Наконец, представление двух английских букв *OO* в виде очков придает названию иконическую транспарентность и аттрактивность.

Если в этом наименовании используется принцип межязыковой игры, то следующий эргоним основан на лингвокреативном оперировании средствами только одного английского языка. С одной стороны, русскоязычный потребитель прочтет название *HOLYGUN BARBERSHOP* как созвучное русскому «хулиган», то есть как заведение для «дерзких, злых озорников»

¹ «OK is by far the most successful American creation in language. It is said to be the most frequently spoken (or typed) word on the planet, more common than an infant's first word *ma* or the ever-present beverage *Coke*. It was even the first word spoken on the moon. It is "OK" — the most ubiquitous and invisible of American expressions, one used countless times every day» [Metcalf 2011: 4] — «ОК — это самое успешное американское творение в языке. Говорят, что это чаще всего произносимое (или печатаемое) слово на планете, более распространенное, чем первое слово младенца «ма» или повсеместно присутствующий напиток «кола». Оно даже стало первым словом, произнесенным на Луне. «ОК» — вездесущее и самое незаметное из американских выражений, которое используется бесчисленное количество раз каждый день» (перевод наш. — *Т. III*).

[БТСРЯ]. С другой стороны, более сведущий в орфографии английского языка человек декодирует замену первой части слова *hooligan* на *holy* (святой) и второй части на *gun* (оружие). Результат сложной многоходовой контаминации — «святое оружие» — иконизируется на витрине в виде изображения двух крещенных пистолетов.

В целом практики англогибридизации коммерческих неймов в российском ономастическом пространстве основываются либо на простом включении лексем (или графем) английского языка в состав наименования объекта, либо на лингвокреативном использовании разноуровневых элементов английского языка в моно- и полисемиотических гибридных номинациях.

Оценка данных практик англогибридизации лингвистического ландшафта российских городов может быть различной: от критического взгляда на процессы миксирования как свидетельство отказа языковой личности от своей национально-культурной идентичности¹ или длительной сохранности колониального рефлекса² до их позитивной оценки как одного из способов проявления метроэтничности³ и свидетельства онтологических изменений в самой структуре языковой личности, для которой выход за пределы одной языковой и даже одной знаковой системы становится естественным приемом, своего рода «языковым рефлексом», приобретенным в условиях глобализации и опосредованного компьютером общения. Более того, «объединение в процессе изобретения коммерческого имени элементов раз-

¹ Как лингвокреативные практики «жителя крупного города, ориентированного лишь на “индивидуальный жизненный проект” с гедонистическим уклоном и не отягощенного национальной идентичностью» [Кирилина 2013: 141].

² Колониальные повадки Запада сохраняются пока еще на уровне рефлекса, так что мы сейчас в фазе активной уверенной защиты (<https://smotrim.ru/article/3832951>).

³ Термин «metroethnicity» (метроэтничность), по образцу сложного существительного «метросексуал» (мужчина, придающий особое значение своей внешности), был предложен Дж. Махером для обозначения мультилингвальной личности, наслаждающейся процессом игрового миксирования различных языков. См. подробнее: [Maher 2010].

личных языковых систем, а также различных семиотических систем свидетельствует о том, что язык становится лишь одним из средств общего семиотического ресурса. Язык утрачивает свою феноменологическую чистоту, и это, на наш взгляд, происходит не от того, что homo loquens пытается избавиться от векового гнета слова, от словоцентричности своего мира, а в силу изменившихся обстоятельств бытования его языковой личности, которая совмещает в себе черты homo loquens, homo videns и homo ludens» [Шкапенко 2023].

Список литературы

Алешинская Е. В., Гриценко Е. С. Английский язык как средство конструирования глобальной и локальной идентичности в российской популярной музыке // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2014. № 6. С. 18—193.

Власенко С. В. Массовая «колонизация» англицизмами языкового сознания русскоговорящих как проблема когнитивной фильтрации // Вопросы психолингвистики. 2007. № 6. С. 81—89.

Зубрицкая Е. В. Гибридные номинации в лингвистическом ландшафте г. Калининграда : дис. ... канд. филол. наук. Калининград, 2024.

Качру Б. Б. Мировые варианты английского языка: агония и экстаз // Культура. Общество. 2012. Т. 14, вып. 4 (75—76). С. 145—165.

Кирилина А. В. Глобализация и судьбы языков // Вопросы психолингвистики. 2013. № 17. С. 136—141.

Кирилина А. В. Проблемы развития коммуникативно мощных европейских языков в эпоху глобализации // Этнопсихолингвистика. 2018. № 1. С. 26—62.

Курченкова Е. А. Функциональные разновидности индийского английского языка // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2014. № 10 (95). С. 104—108.

Лингвистика креатива — 5 : монография / под ред. Т. А. Гридиной. Екатеринбург : Изд-во УрГПУ, 2020.

Меркулова Э. Н. «Ай спик фром май харт» или А был ли Runglish? // Политическая лингвистика. 2015. № 3 (53). С. 42—49.

Нещименко Г. П. Заимствования как проявление культурно-языковых контактов и их функционирование в языке-реципиенте // Встречи этнических культур в зеркале языка. М. : Наука, 2002. С. 121—151.

Новоженова З. Л. Иноязычные вкрапления как дискурсивное явление: русское слово в чужом тексте // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2012. № 8. С. 37—42.

Попова Т. В. Креолизованные дериваты как элемент русской письменной коммуникации рубежа XX—XXI вв. // Лингвистика креатива — 1. Екатеринбург : Изд-во УрГПУ, 2013. С. 147—175.

Рацибурская Л. В. Поликодовость в медийном словотворчестве как средство речевого воздействия // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. 2019. № 19. С. 215—222.

Хауген Э. Процесс заимствования / пер. с англ. А. К. Жолковско-го // Новое в лингвистике. Вып. 6: Языковые контакты. М., 1972. С. 344—382.

Смирнова М. В. Социокультурные характеристики англоязычного влияния в европейском лингвокультурном контексте : автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2001.

Ткаченко О. Б. Исследования по мерянскому языку. Кострома : Ин-фопресс, 2007.

Шенаева О. В. Рунглиш в языковой среде современной России // Современные наукоемкие технологии. 2013. № 7. С. 53—55.

Шкапенко Т. М. Языковая личность как актор современного лингвистического ландшафта // Филологический аспект: международный научно-практический журнал. 2023. № 12 (104). URL: <https://scipress.ru/philology/articles/yazykovaya-lichnost-kak-aktor-sovremennogo-lingvisticheskogo-landshafta.html> (дата обращения: 14.08.2024).

Шкапенко Т. М., Ваулина С. С. Проблемы терминологизации и теоретического описания уровней языковой деривации // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 2: Языкознание. 2020. Т. 19, № 6. С. 204—215.

Ammon U. World languages: trends and Futures // The Handbook of Language and Globalization / ed. by N. Coupland. Blackwell Publishing Ltd., 2010. P. 101—122.

Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, MN : University of Minnesota Press, 1996.

Crystal D. English as a global language. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1997.

Gates B. The Road Ahead. N.Y. : Viking, 1995.

Fairclough N. Language and globalization. L. : Routledge, 2006.

Graddol D. The future of English?: a guide to forecasting the popularity of the English language in the 21st century. L. : British Council, 1997.

Kachru B. The alchemy of English: the spread, functions, and models of non-native Englishes. University of Illinois Press, 1990.

Maher J. C. Metroethnicity, language, and the principle of Cool // International Journal of the Sociology of Language. 2005. № 175—176. P. 83—102.

Metcalf A. OK: the improbable story of America's greatest word. Oxford University Press, 2011.

Steiner G. After Babel: Aspect of Language Translation. Oxford University Press, 1998.

Waszakowa K. Czy w słowotwórstwie pojęcie hybryda jest przydatne? // Poradnik językowy. 2003. № 10 (609). Zeszyt 10. S. 3—11.

Список словарей

БТСРЯ — Большой толковый словарь русского языка: [БТС: А-Я] / Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед. ; гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 2004.

СЭС — Советский энциклопедический словарь. М. : Советская энциклопедия, 1987.

OED — Online Etymology Dictionary. URL: www.etymonline.com (дата обращения: 10.08.2022).

3. Ценностное измерение бытия в стихотворении А. С. Пушкина «Монастырь на Казбеке»: оригинал и перевод на английский

К 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина

Пушкин — поэт, какому равно-
го нет во всей мировой литературе.
Он — единственный.

Анна Ахматова

Художественное произведение, подобно всем произведениям искусства, представляет собой особым способом организованную модель мироощущения, возникающую в процессе целостного и целенаправленного освоения опыта. Литературный текст, целостный в своей законченности, — это единая система форм и смыслов, обладающая «собственными взаимосвязанными закономерностями, собственными измерениями и собственным смыслом» [Лихачев 1968: 76]. Внутренняя самодостаточность целостного мира литературного произведения не означает его полной автономности — художественное произведение всегда зависит от действительности и отражает ее. Своеобразие художественного микрокосма, воплощаемого в слове, не исчерпывается исключительно спецификой языковой «материи», психологическими или естественно-научными факторами: «это своеобразное эстетическое бытие, вырастающее на границах произведения путем преодоления его материально-вещной, внеэстетической определенности» [Бахтин 2003: 305].

Связующим звеном, объединяющим два мира — мир героя и мир произведения, — является автор, который, по мысли М. М. Бахтина, «не только видит и знает все то, что видит и знает каждый герой в отдельности и все герои вместе, но и больше их, причем он видит и знает нечто такое, что им принципиально

недоступно, и в этом всегда определенном и устойчивом избытке видения и знания автора по отношению к каждому герою и находятся все моменты завершения целого — как героев, так и совместного события их жизни, то есть целого произведения» [Бахтин 1986: 16].

Художественное произведение, создаваемое автором посредством языка, связано с определенной культурной традицией — в его «культурном микрокосме» [Ю. М. Лотман... 1994: 205] запечатлены особенности той или иной картины мира. Словесно-художественная ткань произведения — это синтез, с одной стороны, индивидуально-авторского, личного опыта, жизненного и языкового, с другой — национальной картины мира, в рамках которой сформировалось мировидение автора.

Неповторимое в своей уникальности, мировосприятие художника слова предопределено в своих фундаментальных чертах национальным ценностным инвариантом, составляющим «стержень», «доминанту» культурной традиции. Сама культура может быть определена как всестороннее и непрерывное осуществление некоторой совокупности ценностей — тех ориентиров, которые общество воспринимает как основание своего бытия. Национальная культура — единство ценностей, реализованных в материальных и нематериальных формах, — ориентирована на вневременные и сверхпространственные по своей природе идеалы. Обладающая содержательной глубиной, она требует для своего выражения «всей полноты душевного участия» [Ильин 1994].

Культура многогранна и многомерна, и более отчетливому проявлению ее отличительных свойств, не всегда осознаваемых, способствует сопоставление с отличными от нее культурно-историческими системами. Взаимодействие культур — межкультурная коммуникация в широком ее понимании — высвечивает те национально-специфические особенности опыта, которые при индивидуальном, автономном рассмотрении могли бы остаться незамеченными. «Чужая культура только в глазах *другой* культуры раскрывает себя полнее и глубже... Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом» [Бахтин 1986: 354].

Виды и направления взаимодействия культурных и языковых традиций многообразны. Особое место среди них занимает художественный перевод — межъязыковая эстетическая коммуникация, основанная на интерпретации оригинального (исходного) текста в форме нового текста средствами другого языка. Перевод художественного текста, каждый раз индивидуальный, являет собой опыт освоения культуры в рамках иной национальной традиции, опыт, отражающий возможности другой языковой системы, с одной стороны, и потребности современного переводу общества — с другой.

Перевод помещает оригинальный текст в другую языковую и культурную систему, имеющую иные ориентиры и «оси координат». Литературное произведение и его перевод состоят в отношении диалектического единства, в основу которого положено взаимодействие двух языковых и художественных систем и двух авторских картин мира [Оболенская 2013: 7, 16]. Своеобразие формы и содержания художественного текста, создаваемого на иностранном языке в процессе перевода, определяется не только типологическими особенностями языковой системы, но и концепцией действительности, сформировавшей у переводчика в родной культуре. «Интерпретирующее понимание» литературного произведения, обусловленное не в последнюю очередь спецификой самопонимания переводчика как реципиента исходного сообщения, происходит через «сопряжение горизонтов» интерпретируемого (оригинального текста) и интерпретатора [Молчанов 2007: 66]. Глубина постижения переводчиком содержательно-выразительных граней художественного текста зависит от его культурно-исторического и жизненного опыта, от знания вероятных языковых и символических кодов, от его общекультурной компетентности [Арнольд 1993: 7].

Осуществляя перевод художественного произведения, переводчик воспроизводит чужой опыт [Молчанов 2007: 21], эксплицированный в тексте в сложной системе взаимодополняющих образов. Основанием для адекватного понимания концептуального содержания, воплощенного в художественном тексте, является наличие у автора и переводчика тождественного или подобного опыта [Малафеев 2011: 394].

Художественная речь, интерпретируемая в процессе перевода, отличается от иных дискурсов емкостью, образностью и повышенной экспрессивностью, что составляет дополнительную трудность при «декодировании» текста переводчиком. Многослойность словесно-художественной информации, которую несет оригинальный текст, обуславливает возможность неверной трактовки — повышенный, по сравнению с коммуникацией в рамках автохтонной культуры, «риск псевдоидентификации» [Макарова 2005: 12].

Сложность переводческой интерпретации литературного произведения связана с диалогичной природой художественного текста, который представляет собой «диалог автора не только с читателем, но и со всей современной и предшествующей культурой. Он несет на себе следы этого диалога в виде аллюзий, цитат, реминисценций. <...> При отсутствии узнавания “другого голоса” текст оказывается непонятым или понятым только поверхностно» [Арнольд 1993: 8]. В отличие от оригинального текста, ориентированного на близость «познавательных горизонтов» автора и читателя, переводной текст ориентирован на иноязычного реципиента, обладающего иными фоновыми знаниями. Идиолект переводчика, ориентирующегося на абстрактного «среднего» читателя, отражает прежде всего языковую традицию и литературную норму языка перевода. Переводя оригинальный текст, создатель перевода вынужден дополнять, «логизировать», «интеллектуализировать» текст, лишая его концентрации выражения мысли — «напряжения между мыслью и ее выражением» [Левый 1974: 163].

В настоящей главе исследуется ценностное измерение индивидуально-авторского опыта, нашедшего свое отражение в творчестве А. С. Пушкина. Аксиологические координаты художественной картины мира «величайшего представителя русского духа» [Франк 1990: 425] рассматриваются на материале стихотворения «Монастырь на Казбеке» — одного из первых произведений, в котором отличительные черты позднего периода творчества А. С. Пушкина выразились со всей «силой и глубиной» [Баратынский 1987: 270]. Исследование проводится в сопоставительном ключе: своеобразие миропонимания А. С. Пушкина, заложившего «фундамент той великой культу-

ры, которая помогла России остаться Россией, а не уподобиться какой-либо западной цивилизации и тем самым исчезнуть как неповторимое явление» [Непомнящий 2002: 395], выявляется в ходе сравнительного анализа семантического пространства оригинального произведения и его англоязычного перевода, выполненного американским автором Дж. Г. Лоуэнфельдом (род. 1963) [Пушкин 2015: 387]. В фокусе внимания оказываются при этом не только уникальные черты пушкинской картины мира, но и особенности интерпретации ценностного опыта национального русского поэта представителем другой культурной традиции.

Стихотворение «Монастырь на Казбеке» создавалось в августе — декабре 1829 г., после возвращения поэта из второй поездки на Кавказ. В нем отразилось незабываемое впечатление от древнего монастыря, расположенного над Военно-Грузинской дорогой: «Утром, проезжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. Белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками» [Пушкин 1994б: 236]. Беловой автограф стихотворения датируется сентябрем 1830 г., первая публикация, в альманахе «Северные Цветы на 1831 год», относится к декабрю 1830 г. В том, что работа над небольшим по объему стихотворением заняла более года, сказалась необходимость в «дистанции времени», которая в наиболее важных случаях требовалась поэту, чтобы «воплощать переживаемое не в гуще его, а хотя бы на шаг отступая» [Непомнящий 2022: 294].

Первая строфа стихотворения отличается характерной для пейзажного описания стилистической простотой:

Высоко над семьею гор,	High o'er mountain family,
Казбек, твой царственный шатер	Kazbek, your vault majestically
Сияет вечными лучами.	Shines rays eternal, blessed and airy.
Твой монастырь за облаками,	Beyond the clouds, your monastery,
Как в небе реюший ковчег,	An ark in heaven fluttering,
Парит, чуть видный, над горами.	Steams o'er the peaks, is seen
	but barely.

Начальное слово — *высоко* — задает символические координаты произведения. Семантика высоты, эксплицируемая наречием *высоко*, при развертывании стиха «удваивается». Линией отчета в диаде «высокий — низкий» оказывается пространство максимально высокого — это иной, вознесенный над привычным мир, величие которого подчеркивается метафорой *над семьей гор*. Теплота, «свойскость», присущая метафоре *семьи*, смягчает строгую суровость описания, создавая топологически точную картину Кавказа, состоящего из множества горных отрогов, узлов, склонов. Передаваемая словом-символом *семья* идея сложного диалектического единства оттеняет одновременно и единственность Казбека, глава которого одиноко возвышается над множеством меньших вершин Кавказа, и его общность — метафорическое «родство» — с ними.

Обращение второго стиха — «*Казбек, твой царственный шатер*» — выделяет величественную вершину из цепи иных, безымянных гор. Притяжательное местоимение *твой*, указывающее на второй после лирического героя семантический центр стихотворения, максимально приближает далекий Казбек, наделяемый в рамках дейктической пары «я — ты» личностными свойствами одушевленного собеседника поэта.

Эпитет *царственный*, напоминая о метафорическом господстве, главенстве Казбека «над семьей гор», отражает величие и мощь Кавказа. В значении лексемы *шатер* предметно-физические семы объемной протяженности смыкаются с ассоциативными производными — покровы, защиты. Сквозь конкретное значение просвечивают историко-культурные «восточные» коннотации (татарск. *палатка, намет* [Даль 1956, т. 4: 624]). «Восточный колорит», приглушенный в окончательном варианте стихотворения, в первой и второй редакциях белого автографа обозначался эксплицитно, ср.: «Казбек! твой царственный шатер / Горит *восточными* лучами» [Пушкин 1994а: 794].

При переводе на английский язык метафора *твой шатер* передается эквонимичным, но лишенным «восточных» коннотаций сочетанием *your vault* (букв. «твой свод»). Геометрический «контур» строфы меняется: отчетливость пирамидального, устремленного к небу *шатра* переходит в плавность изгиба каменного свода здания. Смещается и перспектива видения:

шагер Казбека, господствующий над окружающим строем гор, имеет конечные, определенные очертания, созерцаемые лирическим героем извне и издалека. Свод небес (*the vault of heaven*), к которому имплицитно отсылает метафора (*your vault*), доступен наблюдению «изнутри» и потенциально беспределен. Перенос акцента на бесконечность «свода» Казбека — ту символическую безбрежность, которая в оригинальном тексте присуща только небесному миру, — нарушает стройную гармонию поэтического образа вселенной, отражающего иерархическую подчиненность видимого невидимому, дольного горнему.

Эпитет *царственный*, указывающий на единственность, исключительность Казбека, при переводе опускается, отчасти «компенсируемый» обстоятельством *majestically* («величественно»), характеризующим сказуемое *shines* («сияет») следующего, третьего стиха. Отадъективное наречие *majestically*, восходящее к латинскому *maiestas* (сравнительная форма прилагательного *magnus* — «большой; великий; важный»), актуализирует своей внутренней формой идею «количественного» превосходства, но лишено семантической многомерности синкретичного слова-символа *царственный*. Изменение синтаксического строя — перенос одного свойства объекта (*царственный шагер*) на действие как другое его свойство (*majestically shines*) «размывает» прозрачную ясность оригинального образа.

Мысль о постоянстве законов природы, символически выраженная пирамидально-статичной формой *шагпа* Казбека, в третьем стихе получает темпоральное измерение: «Сияет вечными лучами». Форма настоящего времени *сияет*, не актуализируя предела действия, изображает ровное излучение яркого света в его непрерывной и неизменной вневременности. Значение «не переставший существовать, никогда не прекращающийся», присущее эпитету *вечный*, соотносится с идеей бесконечной длительности.

В английском переводе для сохранения конечной рифмы с ключевым словом строфы — *monastery* (четвертый стих) — вводятся отсутствующие в оригинале парные эпитеты *blessed and airy*, оказывающиеся в сильной, акцентированной позиции конца стиха. Эпитет *blessed* (букв. «блаженный, благословенный, священный») наделяет Казбек не свойственным ему ка-

чествами преображенной человеческой личности. Эпитет *airy* (букв. «возвышенный, вознесенный») дополнительно, на грани тавтологии, подчеркивающий высоту горы, создает идеализированный образ горной вершины. Ценностные со-значения, проецируемые на смысловое пространство стиха эпитетами *blessed and airy*, изменяют темпоральную отнесенность эпитета в сочетании *rays eternal* («лучами вечными»). Из величественного символа неизменности *вечных* законов видимого, сотворенного мира Казбек трансформируется в знамение «живой», ценностно-насыщенной вечности инобытия. Это смещение, несмотря на эмоциональную привлекательность романтизированного образа, не соответствует строгому спокойствию художественной правды, присущей поздним произведениям А. С. Пушкина.

В следующем, четвертом стихе торжественный образ «вечности» земной сменяется созерцанием видения вечности небесной; массивность горной громады уступает место воздушной невесомости *облаков*: «Твой монастырь за облаками...». Объединяя контрастные семы «прозрачной легкости» и «закрытости, недоступности зрению», обстоятельство *за облаками* вводит мотив тайны, воплощением которой становится монастырь, являющий реальность иного мира.

Внутренняя форма слова *монастырь* (греч. *μοναχ* — «одинокий, один») эксплицирует идею инаковости, выделенности из привычного течения жизни. Находясь над обычным и в обычном являясь, монастырь представляет собой освященное пространство, бытие которого «не в мире, не мирское... с миром не отождествляющееся» [Осипов 1995: 15]. Анафорический параллелизм, объединяющий второй и четвертый стихи, имплицитно образует двух вершин Казбека — физической («...твой царственный шатер») и духовной («Твой монастырь...»). Основанием отождествления становится здесь идея высоты как восхождения — внешнего, видимого и внутреннего, невидимого.

В пятом стихе сравнительный союз *как* намечает границы того умозрительного пространства, в котором раскрывается сущность монастыря на Казбеке: «Как в небе реющий ковчег». Денотативное поле слова *небо* соотносится с двумя планами бытия: с реальностью физической — «ширью и глубиной вселенной», «твердью, небесным сводом» [Даль 1956, т. 2: 273], и

метафизической — всей беспредельностью духовных миров, объемлющих земное бытие [Лосский 2004: 411]. Аллюзивное сравнение *как ... ковчег* помещает стихотворение в аксиологический контекст Священного Писания, отсылая к повествованию книги Бытия о спасении праведного Ноя от всемирного потопа, в водах которого погибло отступившее от Бога человечество (Быт. 6—9). Слово *ковчег* метонимически напоминает о горе Арарат, где ветхозаветный праведник впервые ступил на освободившуюся от вод потопа землю. Автобиографические параллели находим во второй главе «Путешествия в Арзрум»: «Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. “Что за гора?” — спросил я... и услышал в ответ: “Это Арарат”. Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел *ковчег*, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни — и врана и голубицу, символы казни и примирения» [Пушкин 1994б: 220].

Имя-символ *ковчег* имплицитно ценностные антитезы. В предтексте ветхозаветного сказания о строительстве ковчега противопоставляются два пути: картина мира, погруженного в беззаконие («велико развращение человеков на земле» (Быт. 6: 5)), и образ личной праведности («Ной был человек праведный и непорочный в роде своем» (Быт. 6: 9)). Упоминание *ковчега* выступает скрытой аллюзией на Евангелие от Матфея, где ветхозаветное повествование о бездумном забвении Творца размыкается в будущее, приобретая эсхатологическую перспективу: «...Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в *ковчег*, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24: 37—38).

Ковчег предстает *реющим* — плавно летящим — *в небе*. Присушие глаголу *реять* со-значения «без видимых усилий», «без участия управления» актуализируют мысль о Том, Кто без парусов и руля направляет движение ковчега. Семантика длительного и разнонаправленного движения сближает глагол *реять* с его церковнославянским гиперонимом *носиться* («мчаться туда и сюда»): «И возмогаше вода, и умножашеся зело на земли, и *ношашеся ковчег* верху воды» (Быт. 7: 18). Напоминая об из-

бавлении от потопа (план прошлого) и служба залогом достижения спасительного берега (план будущего), ковчег становится символом веры — «осуществления ожидаемого и уверенности в невидимом», ср. (Евр. 11: 1).

В шестом стихе образ ковчега проецируется на созерцаемую лирическим героем картину монастыря: «[Твой монастырь] Парит, чуть видный, над горами». Семантика глагола *парить* совмещает мысль о движении («держаться в воздухе, опираясь на восходящие потоки») с идеей неподвижности («на неподвижно распростертых крыльях»). Антиномичность, преодолевающая противоположности динамики и статики, приоткрывает тайну бытия монастыря. Существующий во времени, он остается непричастным переменам и пребывает в том настоящем, которое, не имея измерения и длительности, «являет собой присутствие вечности» [Лосский 2004: 406]. Обстоятельство *над горами*, перекликающееся с метафорой первого стиха *над семью гор*, оттеняет иерархичность мироздания, строгая гармония которого создается подчинением физического нематериальному, чувственного — сверхчувственному.

При переводе на английский язык сравнительный союз *как* опускается: *your monastery, an ark in heaven fluttering*. Отождествление видимого (*your monastery*) и невидимого (*an ark*) нивелирует смысловое расстояние между символом и символизируемой реальностью, явлением физического мира и его умозрительной, ненаблюдаемой сущностью. Устранение глагольной синонимии *реющий* — *парит* в ходе неточной конкретизирующей интерпретации деепричастия посредством формы *fluttering* (букв. «колышущийся, развевающийся») и сказуемого — посредством глагола *steams* (букв. «парит») разрушает формально-содержательно единство семантического пространства строфы. Изменение синтаксического рисунка шестого стиха, в котором обособленное определение *чуть видный* выносится в позицию сказуемого *is seen but barely* (букв. «виден лишь едва»), переносит акцент с действия (*парит*) на внешний признак (*is seen*), смещая фокус внимания с созерцаемого чудесного явления (*монастырь*) на того, кому с трудом (*but barely*) удастся его увидеть. «Развертывание» определения *чуть видный* в аналитическую конструкцию *is seen but barely*

заменяет идеальный признак реальным, переводя поэтический образ из многомерного пространства символа в линейное пространство бытовой действительности. С изменением синтаксической структуры стиха исчезает кольцевая форма первой строфы, в которой начальный и конечный стихи завершались почти тождественными обстоятельствами *над семьей гор* (первый стих) — *над горами* (шестой стих). В английском тексте кольцевая структура нарушается: окончания первого и шестого стихов, просодически и графически выделенные, содержательно не связаны (*family vs barely*). Тем самым невыраженной оказывается идея гармоничной упорядоченности бытия, в котором высота физическая, видимая (*Казбек*) иерархически подчинена высоте метафизической, духовной (*монастырь-ковчег*).

Во второй строфе область созерцаемого мира максимально расширяется, выражая внутренний опыт лирического героя:

Далекий, возделенный брег!	Goal strived-for long in wandering!
Туда б, сказав прости ущелью,	To climb, leave in ravines all crowds,
Подняться к вольной вышине!	To rise to freedom, high, aloft!
Туда б, в заоблачную келью,	To you, my cell beyond the clouds!
В соседство Бога скрыться мне!	To hide, and neighbours be with God!

Предельная интенсивность чувства, передаваемая восклицанием «Далекий, возделенный брег!», свидетельствует о переходе от зримого к переживаемому. Лирический герой, воспринимавший монастырь как нечто внешнее («Твой монастырь...»), оказывается вовлеченным в созерцаемую им реальность. «Наблюдаемый мир становится пережитым миром — из внешнего превращается во внутренний, “интериоризируется”» [Гаспаров 1997: 22, 24]. В определении *далекий* значение пространственной удаленности уступает место субъективной модальной оценке — идее труднодостижимости цели.

Денотативная отнесенность иносказания первого стиха второй строфы — *Далекий, возделенный брег!* — допускает множественность интерпретаций. Логика линейного развертывания текста анафорически сопрягает метафорическое имя *брег* с ближайшим предшествующим образом — монастыря-ковчеха: «Твой монастырь... парит, чуть видный, над горами. / Далекий, возделенный брег!» В локативно-конкретном прочтении

просматривается возможность и другого прочтения: монастырь-ковчег находится в середине пути (*parit*), стремясь к метафорическому *брегу* — цели земного бытия, его завершению. Эпитет *вожде́ленный* определяет *брег* как общую цель, к которой стремятся и «реюший в небе» монастырь, и лирический герой.

При переводе многозначность иносказания заменяется прямозначным истолкованием. Слово-символ *брег*, имплицитно образующее образ бушующего «житейского моря», по которому совершает свое плавание *монастырь-ковчег*, уступает место гиперониму *goal* («цель»). Эта узуальная метафора проецирует на смысловое пространство второй строфы едва осязаемую идею соревновательности, соперничества (англ. *goal* — «финиш, ворота»). Семы интенциональности, рационального планирования, входящие в сильный импликационал лексемы *goal* («намерение; желаемая цель, достижение которой требует времени и усилий»), сообщают поэтическому образу несвойственную оригиналу индивидуализм и эгоцентричность. Идея интенциональности усиливается двуступенчатым определением *strived-for long* (to strive for — «добиваться»). Предельная сила чувства, выражаемая в оригинале экспрессивным эпитетом *вожде́ленный*, при этом рационализируется — в определении *strived-for long* акцент смещается на усилие внешней активности, на видимость деятельности, сопровождаемой психологическим напряжением.

Устраняя символический подтекст, создаваемый метафорой *брег*, автор перевода делает попытку компенсировать утрату семантической объемности строфы «развертыванием» эпитета *strived-for long* за счет введения уточняющего обстоятельства *in wandering* (букв. «[бывший целью] в скитаниях»). «Причина» исканий объясняется здесь через воспроизведение романтического стереотипа бесприютного поэта-странника, что сообщает начальному стиху оттенок шаблонности, искусственности. Соединение несовместимого — конкретности «рационализирующего» целеполагания (*goal strived-for long*) и неопределенности бесцельного движения (*wandering*) — лишает поэтический образ естественности живого, непридуманного чувства.

Динамическое наречие *туда*, анафорически связывающее второй и четвертый стихи строфы, объединяет мысль о достижении цели с идеей движения к ней, вводя ключевой для второй строфы мотив «перехода в иное» [Жолковский 2011: 212]. Модальная частица *б*, вводящая сослагательный инфинитив следующего стиха — *подняться к вольной вышине*, отсылает к пространству будущего. Границы «детерминирующей ситуации», при которой возможным будет осуществление желаемой цели, обозначены результативным деепричастием второго стиха строфы: «...сказав прости ущелью». Образы тесноты и темноты, рождаемые словом *ущелье*, метафорически соотносятся с идеями душевной несвободы. В черновом наброске стихотворения «Страшно и скучно», над которым А. С. Пушкин работал в октябре — декабре 1829 г., ущелье отождествляется с темницей: «Тесно и душно. / В диком ущелье / ...Небо чуть светит, / Как из тюрьмы» [Пушкин 1994а: 799].

Метафорическое сочетание *сказать прости*, указывающее на прощание перед расставанием, прочитывается в эмоционально-деятельностном ключе, как знак экзистенциального изменения, онтологического поворота — «перемены мысли», необходимой для восхождения из пространства настоящего (*ущелья*) к будущему (*вольной вышине*). Динамический инфинитив *подняться к*, передавая идею устремленности вверх, ввысь, указывает на возникновение «своей системы отсчета, другого масштаба» [Непомнящий 2022: 288]. Темпоральная неопределенность, присущая оптативному наклонению («Туда *б*... *подняться*»), способствует расширению временных границ строфы: значение желания обращено в будущее, которое, не будучи отграничено от настоящего, размыкается в вечность.

Прилагательное *вольный*, производное от знакового для пушкинского идиолекта слова-символа *воля*, актуализирует максимально широкий круг аксиологических смыслов. Пространственные значения — «просторный» («по *вольному* распутью моря»), «свободный, нестесненный в движении» (ср. «...начну я *вольный* бег...») — смыкаются в языке А. С. Пушкина с ценностно-этическими со-значениями — «независимый, не испытывающий принуждения» («*вольное искусство*»), «свободный» («Мы *вольные* птицы»). Эпитет *вольный* соотносится с высшей

ценностью индивидуальной жизни — разумной волей суждения, волей выбора, право пользования которой есть залог возрастания истинной свободы человека [Лосский 2004: 483]. Не нарушаемая никаким принуждением, внешним воздействием, личной выгодой или давлением общественного мнения, эта свобода морального суждения есть путь «к принятию высшей воли», к совершенному подчинению собственной человеческой воли благой воле Творца [Вышеславцев 1990].

Слово *вышина* в поэзии А. С. Пушкина передает преимущественно значение «небесная высь», ср.: «И звезд ночных при бледном свете, / Плывущих в дальней *вышине*» (1814), «Спокойно все: луна сияет / Одна с *небесной вышины*» (1824). Физическое, пространственное значение индуцирует иносказательные смыслы, сформировавшиеся в рамках прецедентного контекста Священного Писания и Предания («Аз от *вышних* есмь» (Ин. 8: 23), «Слава в *вышних* Богу...» (Лк. 2: 14)) и сохраняющиеся в поэзии А. С. Пушкина: «То в *вышнем* суждено совете... / То воля *неба*...» («Евгений Онегин», 1824), «десница *вышняя* Господня» («Полтава», 1828—1829).

Четвертый стих уточняет цель, к которой стремится лирический герой: «Туда б, в заоблачную келью». Сочетание *заоблачная келья* парафразирует слова четвертого стиха первой строфы *монастырь за облаками*, будучи соотнесено с ним и словообразовательно (*за облаками* → *заоблачный*), и семантически (синекдохической заменой целого его частью: *монастырь* → *келья*).

Определение *заоблачный* наряду с прямым, морфологически мотивированным значением передает образное, метонимическое — «незримый, невидимый». Фоническое единство паронимически сближает эпитет *заоблачный* с зеркально отражающим его слоговой строй сочетанием *области заочны*, которое в стихотворении «Молитва», написанном в июле 1836 г., указывает на мир вечности: «Отцы пустынники и жены непорочны, / Чтоб сердцем возлетать *во области заочны*, / Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, / Сложили множество божественных молитв...». *Заоблачная келья* может быть символически интерпретирована как «внутренняя клеть сердца», где человек обретает «начало того восхождения, в котором мир будет казаться ему все более и более единым, все более

и более сосредоточенным, пронизанным духовными силами, образующим содержащееся в руке Божией единое» [Лосский 2004: 138].

В последнем стихе строфы поле зрения максимально расширяется, достигая «последних “пределов”» [Гаспаров 1997: 17]. Кульминация всего произведения — заключительный стих «В соседство Бога скрыться мне!» — представляет собой нехарактерный для А. С. Пушкина «прямой взлет» [Непомнящий 2022: 314]. Единый ценностный центр, к которому стремится лирический герой, оказывается столь велик, что в Нем обретаются бытийные смыслы и «царственный шатер» Казбека, и монастырь, и ущелье.

В глаголе *скрыться* значение удаления от мира сочетается с мыслью о тайне и, одновременно, с идеей приюта, убежища, спасения. Лирический герой, находящийся в *ущелье*, стремится *скрыться в соседство Бога*, чтобы «приобщиться к началу, в котором — залог спасения жизни» [Франк 1994: 511]. Генетическое родство глагола *скрыться* со словами *кров*, *покров* сближает заключительный стих с началом 90-го псалма: «Живый в помощи *Вышняго* (ср.: «к вольной *вышине*»), в *крове Бога* небесного водворится» (Пс. 90: 1).

Субъект действия, названного инфинитивами *подняться*, *скрыться*, выражен детерминантом — местоимением *мне*. Контаминация функционального значения субъекта и присущего дательному падежу морфологического значения объекта-адресата смягчает кажущуюся «дерзновенность» последнего стиха, указывая, что достижение «вожделенного брега» находится вне власти лирического героя. В присущем оптативному залогу внутреннем противопоставлении воли и действия, идеала и реальности проявляется определяющая методологию зрелого творчества А. С. Пушкина «универсальная по характеру» и «онтологическая по масштабу» коллизия: отношения человека, каков «он есть в наличии» — «с тем, каким он мог бы быть, то есть с тем, как прекрасно он замышлен Богом» [Непомнящий 2022, 613].

При переводе на английский язык ирреальная модальность сослагательного наклонения *Туда б* сменяется определенностью акциональных глаголов-подлежащих, обозначенных чередой

инфинитивов *to climb* («взобраться»), [to] *leave* («оставить»), *to rise* («подняться; встать»), *to hide* («спрятаться»). *Брег*, недостижимый в пространстве видимого мира, оказывается рационально доступным через простое физическое действие — отсюда и цепочка однородных инфинитивов, называющих условия достижения цели (*goal* первого стиха строфы). Созерцательность, пронизывающая смысловое пространство оригинального текста, вытесняется энергичным деятельностным началом, прямолинейно оптимистичным в своей земной конкретности.

Подмена семантической многоплановости, отражающей жизнь души в ее устремленности к Идеалу, смысловой «линейностью» описания внешних действий, происходит, в частности, при интерпретации полисемантических лексем *сказать прости, подняться, скрыться* посредством терминологически однозначных глаголов *to climb* (ср. *to climb a tree, the stairs*), *to leave* (ср. *to leave work, home*), *to hide* (ср. *to hide in the corner, shadows, basement*). Перечисление действий призвано логически подвести к кульминации последнего стиха, также инфинитивного по своей форме: *...and neighbours be with God!* (букв. «и соседями быть с Богом»).

Трансформируется и сама цель, к которой стремится лирический герой. Таинственной «заоблачной келье» соответствует в тексте перевода почти реальное в своей конкретности место, описываемое аналитической конструкцией с притяжательным местоимением *my cell beyond the clouds* (букв. «моя келья за облаками»). Усиление эмоциональности посредством введения отсутствующих в оригинале персонифицирующего обращения *to you, my cell* (букв. «к тебе, моя келья») и экспрессивного восклицания, нехарактерного для сдержанной англоязычной речи, достигает противоположного результата. Глубокое чувство, лишь приоткрываемое в стихотворении А. С. Пушкина, при «выставлении напоказ» девальвируется, внутренний, сокровенный опыт оказывается в тени внешних эффектов.

Несовпадение, «разность» картин мира русского поэта и его современного англоязычного интерпретатора наиболее отчетливо проявляется при сопоставлении оригинального и переводного текстов финальной строки стихотворения. Указывающие на конечный смысл и предназначение бытия, слова «в сосед-

ство Бога скрыться мне» описывают действие и его цель синкретично, в их нерасторжимом единстве. При переводе группа сказуемого разрывается введением соединительного союза *and*: ...*To hide, and neighbours be with God!* Сопрягая инфинитивы *to hide* — *to be* как обозначения двух самостоятельных и самоценных действий, союз *and* механически связывает их как причину и следствие, низводя тайну из символического плана в плоскость эмпирически наблюдаемых фактов. Центральный элемент стиха — именное обстоятельство *в соседство Бога* — трансформируется в именное сказуемое *neighbours be with God*. Форма множественного числа *neighbours* («соседи»), предполагающая тождество денотатов, входящих в данный класс, эгоцентрически уравнивает лирического героя и Творца вселенной.

Проведенное исследование дает основание полагать, что организующим началом ценностной картины мира А. С. Пушкина, получившей свое художественное выражение в стихотворении «Монастырь на Казбеке», является телеологическая устремленность к Абсолютной ценности — идеалу полноты бытия, данной в Боге [Лосский 2000: 69]. Содержательное пространство произведения упорядочивает единая смысловая вертикаль, соединяющая земной, видимый мир, данный в его наличной действительности («ущелье»), и невидимую реальность мира небесного («вольную вышину»). Величественная неизменность природы, символизируемая «царственным» Казбеком, иерархически подчиняется вечному настоящему, являемому в образе «монастыря за облаками». Тематический ключ стихотворения — аллюзия «монастырь-ковчег» — сопрягает изображаемую в произведении художественную реальность с вневременным контекстом Священного Писания, с одной стороны, указывая на возможность спасения, с другой — предостерегая от бездумного забвения идеальной первоосновы бытия. В этом восприятии «духа человеческого» как части «Духа Вечности» [Попович 2022: 239], в подчинении земного небесному, физического сверхчувственному прослеживается иерархическая структура бытия, определяющая природу ценностной картины мира А. С. Пушкина. «Поэтическая запись опыта внутренней жизни» становится для поэта «личной дорогой к об-

ласти абсолютного» [Непомнящий 2001: 368]. В этом стремлении «утвердить личность в бытии вечном, связать ее навсегда с бытием абсолютным» [Лосев 1994: 96] проявляется традиционная для русской литературы аксиологическая парадигма. Сопоставительное исследование англоязычного перевода стихотворения показало, что различное аксиологическое основание картин мира автора и переводчика, недостаточное знакомство последнего с русским языковым и культурным «кодом» и прецедентными для русской словесной традиции текстами, не вполне приемлемый выбор стратегий перевода (стремление, с одной стороны, к конкретизации, с другой — к генерализации и опущению концептуально значимых элементов оригинального текста) приводят к тому, что в переводном тексте отражается только внешний опыт, внутренний же опыт остается не эксплицированным.

Список литературы

Арнольд И. В. Читательское восприятие интертекстуальности и герменевтика // Интертекстуальные связи в художественном тексте. СПб. : Образование, 1993. С. 4—12.

Баратынский Е. А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М. : Правда, 1987.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. 2-е изд. М. : Искусство, 1986.

Бахтин М. М. Собр. соч. : в 7 т. Т. 1. М., 2003.

Вышеславцев Б. П. Вольность Пушкина // О России и русской философской культуре. М. : Наука, 1990. С. 398—402.

Гаспаров М. Л. Избр. тр. Т. 1 : О поэтах. М. : ЯСК, 1997.

Жолковский А. К. Поэтика Пастернака. М. : НЛО, 2011.

Ильин И. А. Религиозный смысл философии [Три речи] // Собр. соч. : в 10 т. Т. 3. М. : Русская книга, 1994. С. 15—88.

Левый И. Искусство перевода. М. : Прогресс, 1974.

Лихачев Д. С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968. № 8. С. 74—87.

Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М. : Мысль, 1994.

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Киев : Изд-во им. свт. Льва, папы Римского, 2004.

Лосский Н. О. Ценность и Бог. Харьков ; М. : Фолио ; АСТ, 2000.

Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М. : Гнозис, 1994.

Макарова Л. С. Коммуникативно-прагматические аспекты художественного перевода : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2005.

Малафеев А. Ю. Особенности концептуализации времени и пространства в поэтическом творчестве Арсения Тарковского // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. № 6-2. 2011. С. 394—398.

Молчанов В. И. Исследования по феноменологии сознания. М. : Издательский дом «Территория будущего», 2007.

Непомнящий В. С. Удерживающий теперь: Пушкин в судьбе России. М. : Изд-во ПСТГУ, 2022.

Непомнящий В. С. Пушкин. Избранные работы 1960-х — 1990-х гг. Т. 1 : Поэзия и судьба. М. : Жизнь и мысль, 2001.

Оболенская Ю. Л. Художественный перевод и межкультурная коммуникация. М. : Книжный дом «Либроком», 2013.

Осипов А. И. Святые как знак исполнения Божия обетования человеку // Русское возрождение. 1995. № 62. С. 9—32.

Попович Иустин, преподобный. Из наследия прп. Иустина Поповича // Человек Христов: Преподобный Иустин [Попович], богослов и чудотворец Челийский. М. : Изд-во ПСТГУ, 2022. С. 217—242.

Франк С. О задачах познания Пушкина // Пушкин в русской философской критике: Конец XIX — первая половина XX в. М. : Книга, 1990. С. 422—452.

Франк С. Смысл жизни // Смысл жизни: Антология. М. : Прогресс-Культура, 1994. С. 487—583.

Список источников

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М. : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1956.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч. : в 17 т. Т. 3, кн. 2. М. : Воскресенье, 1994а.

Пушкин А. С. Собр. соч. : в 5 т. Т. 4 : Романы и повести. СПб. : Библиополис, 1994б. С. 203—237.

Пушкин А. С. Мой талисман избранная лирика и биография Александра Пушкина / пер. [на англ. яз.] и биогр. поэта: Джулиан Генри Лоуэнфельд. М. : Москвоведение, 2015.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая коллективная монография объединила исследования, тематика которых сосредоточена вокруг триады *язык — опыт — время*. Опыт как изначальная реальность человеческого бытия является неотъемлемой частью познания и преобразования действительности. Он основывается на единстве непосредственного и опосредованного знания. То, что отдельный индивид воспринимает как констатацию непосредственно данного, исторически является воплощением активной предметной деятельности всего общества. Опыт, как личный, так и общественный, зависит от влияния многообразных социально-культурных факторов и, как следствие, неоднороден. Наряду с объективными, универсальными и типически-узнаваемыми чертами, из которых складывается восприятие действительности, опыт каждого конкретного человека отличают уникальные особенности, обуславливающие неповторимое своеобразие индивидуального познания и понимания мира.

Опыт, как и знание, по своей природе динамичен, он погружен во время и отражает его. Временное начало пронизывает все виды опыта — от фундаментального процесса формирования элементарных смыслов, в котором время представляет собой поток различий, до сложнейших форм духовного опыта, опыта созерцания, где время уступает место вечности. Мельчайшие единицы опыта, формирующиеся при обработке человеческим разумом внешних и внутренних впечатлений, закрепляются в слове, фиксируемые на разных уровнях языковой системы.

В исследованиях, составивших настоящую книгу, рассматривались вопросы отражения изменяющегося опыта индивида и социума в дискурсивных и коммуникативных практиках английского, немецкого и русского языков. Представленные формы опыта многообразны. Изучение словесных форм экспликации опыта освоения прошлого, сохраняющегося в памяти,

помогло детально описать сложную многоуровневую структуру ретроспективного дискурса в немецком языке. Объединяющий произведения различных жанров ретроспективный дискурс характеризуется системой только ему присущих средств вербализации.

Исследование особенностей концептуализации языка как инструмента познания и конструирования мира в трудах выдающегося немецкого философа XVIII в. И. Г. Гамана позволило рассмотреть соотношение элементов триады *язык — бытие — мышление* в контексте современного кризиса сознания.

Анализ аргументативной формы диалогической речи в романе Т. Манна «Будденброки» дал основание заключить, что опыт убеждения, центральный для процесса общения, всегда апеллирует к значимым для собеседников ценностям. Несовпадение аксиологических координат участников диалога, эксплицируемое как в процессе речи, так и вне его, способно иметь драматические последствия, вскрывающие подлинную значимость ценностей и антиценностей бытия.

Исследование сложного опыта языковой рефлексии — онтологической и оценочной категоризации слова как объекта осмысления говорящего, — позволило выявить основные характеристики рефлексивов как средства самоидентификации и самовыражения современных русских прозаиков.

Изучение процесса формирования семантической структуры абстрактных лексем английского и русского языков *comfort, комфорт* дало возможность наметить этапы деаксиологизации картин мира носителей данных языков по линии «духовное — душевное — телесное». Были выявлены постепенные, часто едва заметные сдвиги, которые, аккумулируясь, привели к фундаментальному изменению англо-американской аксиосферы и на рубеже XX—XXI вв. были положены в основание процесса «ядерного расщепления»¹ культурных доминант русской картины мира.

Анализ опыта одностороннего влияния англо-американской культуры на генетически, аксиологически и лингвистически от-

¹ Анненкова И. В. Медиадискурс XXI века. Лингвофилософский аспект языка СМИ. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2011. С. 268.

личные от нее культурные традиции позволил определить основные тенденции глобального процесса англогибридизации, приводящего к унификации многообразного опыта иных культур и народов и утрате ими своего национального своеобразия.

Анализ особенностей художественного преломления индивидуально-авторского опыта в стихотворении А. С. Пушкина «Монастырь на Казбеке» показал, что содержательное пространство произведения структурирует аксиологическая вертикаль «природа — человек — Бог». Смыслообразующим центром, в котором объединяются внешние образы и их внутреннее, умозраительное бытие, выступает локус неба — *вольная вышина*, к которой обращена жизнь души лирического героя в ее движении и стремлении. Образ мира, запечатленный в синкретической форме слов-символов, сложен для иноязычной и инокультурной интерпретации, о чем свидетельствуют результаты анализа английского перевода стихотворения.

Описанные в настоящей монографии лингвистические явления отражают отдельные грани коллективного и индивидуального опыта на разных уровнях языковой системы — в морфологии и лексике, синтаксисе и просодии. Вербализируя результаты сложного процесса категоризации и концептуализации мира, единицы языка несут на себе отпечаток «духа времени» и преобладающих в нем ценностей. Ословливая эти ценности эксплицитно и имплицитно, язык «закрепляет» их место в культуре, передает и хранит их, предопределяя координаты коммуникативного и дискурсивного опыта социума в его настоящем и будущем.

Научное издание

ЯЗЫК, ОПЫТ, ВРЕМЯ
В СВЕТЕ ДИСКУРСИВНЫХ
И КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИК

Монография

Под редакцией М.Н. Конновой

Редактор *Д. А. Малеваная*
Компьютерная верстка *Е. В. Денисенко*

Подписано в печать 28.12.2024 г.
Дата выхода в свет 25.03.2025 г.
Формат 60×90 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 13,2
Тираж 500 (1-й завод 40 экз.). Заказ 33

Издательство Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
236041, г. Калининград, ул. А. Невского, 14